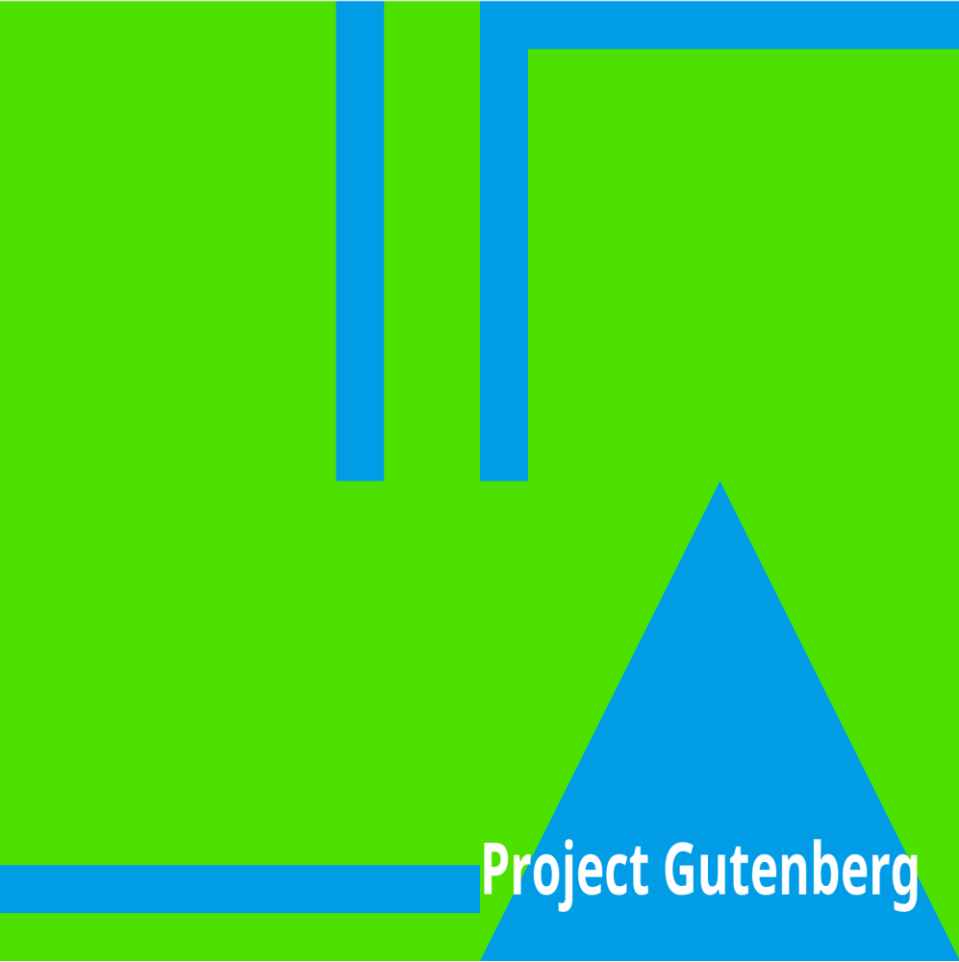


Гораций
Уильям Таквелл

Horace

William Tuckwell

A decorative graphic consisting of a large green rectangle. Overlaid on this rectangle are several blue geometric shapes: a horizontal bar at the top, two vertical bars on the left side, and a large triangle at the bottom right. The text 'Project Gutenberg' is written in white on the blue triangle.

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Horace

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то , прежде чем использовать эту электронную книгу, вам придется ознакомиться с законодательством страны, в которой вы находитесь.

Название: Гораций

Автор: Уильям Таквелл

Дата выхода: 22 мая 2008 [eBook #25563]

Язык: Английский

Кредиты: Электронный текст подготовлен Джульет Сазерленд, Дэвидом Гарсиа и группой онлайн-распределенной корректуры проекта "Гутенберг".

*** НАЧАЛО ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПРОЕКТА ГУТЕНБЕРГ "ГОРАЦИЙ" ***

Электронный текст подготовлен Джульет Сазерленд, Дэвидом Гарсиа, и группой онлайн-распределенной корректуры Проекта Гутенберга (<http://www.pgdp.net>)

ГОРАЦИЯ



[Биб. Нат., Париж.

ГОРАЦИЯ.

С бронзового медальона эпохи Константина.

Серия миниатюрных произведений великих писателей Белла

ГОРАЦИЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ У. ТАКВЕЛЛ, М.А.
АВТОР "ЧОСЕРА" И ДР.



ЛОНДОН
ДЖОРДЖ БЕЛЛ И СЫНОВЬЯ
1905

CHISWICK PRESS: CHARLES WHITTINGHAM AND CO.
ТОРКС КОРТ, ЧАНСЕРИ ЛЭЙН, ЛОНДОН.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТРАНИЦА
Борьба	9
Успех	19
Сатиры и послания	30
Оды и эподы	51
Лебединая песня	74
Вина Горация	82
Хронология	85
Указатель	87

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

	НА ЛИЦО СТРАНИЦА
Гораций с бронзового медальона	<i>Фронтиспис</i>
Брут	12
Меценат	16
Место, где находилась вилла Горация	22
Римский форум	26
Август	46
Вергилий	64
Форум восстановлен, как в 80 г. н.э.	74

ЖИЗНЬ ГОРАЦИЯ

СТРУКТУРА

Квинт Гораций Флакк, "старый популярный Гораций" Теннисона, которого французы и англичане любят больше всех поэтов древности, родился 8 декабря 65 года до нашей эры. В своих стихах он безразлично называет себя тремя именами, но нам он известен только под ласковым уменьшительным от своего второго или языческого имени, которое носил его отец, по тогдашней моде, как раб какого-то члена знатного рода Горациев. Отец, несомненно, был рабом: подлое происхождение - колкость, которую часто отпускали в адрес сына и которую

он встречал с великодушным равнодушием; но задолго до рождения Горация старший Гораций получил свободу, накопил достаточно денег, чтобы отойти от дел и стать владельцем небольшого поместья в Ветузии на границе Апулии, где родился и провел детство поэт. Он неоднократно упоминает этот любимый ранний дом, с любовью говорит об окружающих пейзажах, о стремительной реке Ауфидус, ныне Офанто, о соседних городах Ахеронтия, Бантия, Форентум, открываемых на современных картах как Ацеренца, Ванци, Форенца, о хрустальном бандузийском источнике, о принадлежности которого мы можем только догадываться. Здесь он рассказывает, как в детстве бродил по лесу и уснул под деревьями, а проснувшись, обнаружил, что его накрыли листьями дятлы, и ссылается на распространенное в деревне поверье, что он был особо благосклонен к богам. Спустя долгое время, путешествуя по Италии вместе с Меценатом, он с восторгом рассказывает о том, как мимоходом увидел знакомые, продуваемые ветром апулийские холмы.

О своем отце он всегда говорит с глубоким уважением. "Стыдиться его?" - говорит он, - "потому что он был вольноотпущенником? Все нравственные добродетели, все обаяние характера - мои, я обязан ему. Бедный человек, он не отдал меня в деревенскую школу, где учатся крестьянские дети, а повез в Рим, чтобы я получил образование вместе с сыновьями рыцарей и сенаторов. Он жалел себя, чтобы хорошо одеть меня, сам посещал все мои лекции, сохранял меня чистым и скромным, ограждал от дурных знаний и опасных связей. Как мне стыдиться такого сира, как говорить, как я слышал от некоторых, что в низком происхождении человека виновата природа, а не он сам? Если бы мне пришлось начать жизнь заново, с разрешения богов выбрать себе родителей из величайших представителей человечества, я был бы доволен, и даже более чем доволен, теми, кто у меня был". Все самоуважение и благородство этого человека сияет в этих щедрых строках. (Sat. I, vi, 89.)

Дважды в старости Гораций довольно пренебрежительно отзывается о своей учебе в Риме: его учили, по его словам, по переводу из Гомера, сделанному некачественным латинским писателем (Ep. II, i, 62, 69), а его учитель, отставной солдат, некто Орбилий, был "любителем розги" (Ep. II, i, 71). Я замечаю, что симпатии гораццианских редакторов и комментаторов, которые сами в большинстве своем были школьными учителями, скорее относятся к Орбилиусу как к многострадальному воспитателю, чем к его измученному ученику. Из других источников мы знаем, что учитель был хорошим ученым и известным педагогом и что, умерев на сотом году жизни, он был удостоен мраморной статуи в своем родном городе Беневентуме; но, как и наш английский Орбилий, доктор Басби, он известен большинству людей только по обидному эпитету Горация: "Великий человек, - сказал сэр Роджер де Коверли, - великий человек; он бичевал моего деда, очень великий человек!"

Молодой англичанин по окончании школы поступает в Оксфорд или Кембридж: молодой римлянин отправился в Афины. Там Гораций в возрасте около девятнадцати лет изучал греческий язык и посещал школы философов, тех самых стоиков и эпикурейцев, которых несколько лет спустя первый великий христианский софист проповедовал на Марсовом холме. Они с разных точек зрения учили основам счастья и цели жизни. Каждый из них, в свою очередь, произвел на него впечатление: на какое-то время он согласился со стоиком Зеноном, что активный долг - это высшее благо; затем скатился к легкой доктрине эпикурейца Аристиппа, что субъективное удовольствие - это единственное счастье. Его философия никогда не была очень напряженной, всегда более практичной, чем умозрительной; он играл с системами своих учителей, высмеивал их заблуждения, усваивал их серьезные уроки.



Фото Алиари]

[Дворец консерваторов, Рим.

БРУТУС.

В это время в его жизнь вошло влияние, которое помогло сформировать его характер, но едва не разрушило его судьбу. Брут, только что убитый Цезарем, находился в Афинах, жил, как бы сказать, в своем старом университете и вызывал страстное восхищение его самых блестящих студентов; среди прочих - младший Цицерон и Гораций. Немногие персонажи в истории более патетически интересны, чем он. Высокородный, но презиравший честолюбивые цели, безупречный в век почти повсеместного распутства, единственный чистый член грубо развратной семьи, скромный и незаметный, хотя и пропитанный всей

ученостью старой Греции, сильный волей, но терпимый и мягкий, его строгость была настолько смягчена гуманизмом, что он завоевал не только уважение, но и любовь; Его обожали молодые патриции, отдававшие дань уважения добродетели, которой они не побрезговали подражать, его почитали как равного себе люди гораздо старше его, Цицерон, Атик, Цезарь. Когда мы стоим перед бюстом во Дворце консерваторов, сохранившим его подвижные черты, на этом лице, одновременно милом и печальном, одновременно молодым и старом, как нередко бывают лица людей, чей темперамент никогда не был юным, - уже в тридцать один год на нем отпечатались черты великой, но роковой судьбы, - мы словно проникаем в характер человека, которого Данте поместил в ад, которого Шекспир, с более глубокой и католической проницательностью, провозгласил самым благородным римлянином из них всех:

Жизнь его была нежна, и стихии

Так смешались в нем, что природа могла бы встать,

И сказать всему миру: *"Это был человек"*.

Через некоторое время, покинув Афины, чтобы принять командование армией, поднятой против Антония, Брут взял Горация в свою компанию в звании военного трибуна. Он последовал за своим покровителем в Азию; одно из его ранних стихотворений с юмором описывает сцену, свидетелем которой он стал в суде в Клазоменах. Он несколько раз участвовал в боях; в конце концов, служил при Филиппах, участвуя в разгроме, последовавшем за смертью Брута; вернулся в Рим "смирренный и с обрезанными крыльями" (Od. I, vii, 5.). (Его отец умер, имущество было конфисковано в результате проскрипции, последовавшей за поражением, и ему пришлось начать жизнь заново в двадцать четыре года. Он получил что-то вроде должности клерка в государственном учреждении и, чтобы прокормиться на ее скудное вознаграждение, начал писать. Каковы были его самые ранние попытки, мы не можем точно сказать, и сохранились ли какие-либо из них среди стихов, признанных его. Он рассказывает, что его первым литературным образцом был Архилох (Er. I, xix, 24), греческий поэт 700 года до н. э., который, как считается, был изобретателем личной сатиры, чье жгучее перо, как говорят, иногда доводило своих жертв до самоубийства. Некоторое время он также подражал гораздо более позднему сатирику, Луцилию, которого впоследствии отверг, поскольку ему не нравились как резкость его стиля, так и сквернословие его стихов. (Sat. I, x.) Поэтому существует предположение, что его ранние сочинения были суровыми личными пародиями, написанными за деньги и на заказ, которые его более зрелый вкус уничтожил. Как бы то ни было, его сочинения нашли своих почитателей. Примерно через три года после его возвращения в Рим его друзья Варий и Вергилий расхваливали его Мекенату; великий человек прочитал стихи молодого поэта и пожелал с ним встретиться. (Sat. I, vi, 54.)

В народной оценке Мекенат занимает место просвещенного и щедрого мекената, но он был не только этим. После смерти Цезаря он был надежным агентом и интимным советником Августа, скрытой рукой, направлявшей самые тонкие маневры своего господина. В ловкости и гибкости с ним не мог сравниться ни один дипломат. Острое предвидение событий и проницательный взгляд на характер позволяли ему создавать обстоятельства и формировать людей, сочетание которых было необходимо для достижения его целей. Тактом и умеренностью своего обращения, сдержанными словами, которые отводили гнев, ловкой скрытностью, которая обезоруживала подозрения, он примирял враждующие группировки, скрывал произвол, внушал и знати, и населению благотворность императорского деспотизма, а его суровость оставлял вне поля зрения. Не выставляя напоказ свои

обширные полномочия, он маскировал их показным смирением, отказываясь от официального продвижения по службе, довольствуясь низшим званием "рыцаря", сидя в театре и цирке ниже людей, которых его собственная рука вознесла на более высокий пост, чем его собственный. Поглощенный бессонной политической работой, он носил внешнее одеяние беспечного, пустякового сластолюбца. Трудно было поверить, что этот, казалось бы, бездарный бездельник, щегольски одетый, с завитыми и надушенными волосами, наслаждающийся новой изысканностью теплой ванны, эпикуреец в еде и питье, покровительствующий актерам, валяющийся в своей подстилке среди вереницы паразитов, мог быть тем человеком, на которого, как рассказывает Гораций, непрерывно давили гражданские тревоги и внешние опасности. Он построил себе дворец и разбил благородные сады, остатки которых до сих пор сохранились у подножия Эсквилинского холма. Это была самая грязная и неприглядная трущоба в Риме, где хоронили нищих, казнили преступников, проводили непристойные обряды ведьм, где обитали собаки и стервятники. Он сделал ее здоровой и красивой; Гораций отмечает ее благолепие, а Август, будучи инвалидом, приходил туда дышать ее воздухом. (Там Меценат разложил свои книги, драгоценные камни и этрусские изделия, развлекал своих литературных и высокородных друзей, разливал свои бесценные цекубские и хианские вина. В этих кубках были капли горького. Его прекрасная жена Теренция изводила его своим нравом и неверностью; он неоднократно прогонял ее, но так же часто принимал обратно. О нем говорили, что он был женат сто раз, но только на одной жене: "Какие последние супружеские новости?" - спрашивали люди, проезжая мимо его роскошного экипажа, - "это брак или развод?". И его преследовал ужас смерти. "Продлите мою жизнь", - молил он в словах, которые Сенека высмеял, а Лафонтен прекрасно перевел, но при этом упустил жесткость оригинала: "Жизнь среди пыток, жизнь даже на кресте, только жизнь!"

Qu'on me rend impotent,

Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme

Je vive, c'est assez; je suis plus que content.

Его покровительство интеллектуальным людям было обусловлено как политикой, так и склонностями. Сам культурный литературный критик, предвидевший взлет на полных крыльях еще полуоперившихся писателей - "Энеиду" в "Эклогах" Вергилия, "Оды" Горация в его "Эподах", - он не только собирал вокруг себя людей, которые, как мы знаем, были ему ровней, чье остроумие и мудрость Гораций запечатлел в эпитете, строке, оде; Вария, и Сульпиция, и Плоция, и Фонтея Капито, и Вискаса; Но он также видел и использовал для себя и для своего учителя социальное влияние, которое может оказать восходящий поэт, эффект, с которым смелая эпиграмма может уловить общественное ухо, хорошо продуманный панегирик - императорскую популярность, красноречивая проповедь, как в благородных вступительных одах третьей книги Горация, отбросить порок и поднять тон упадочного общества.

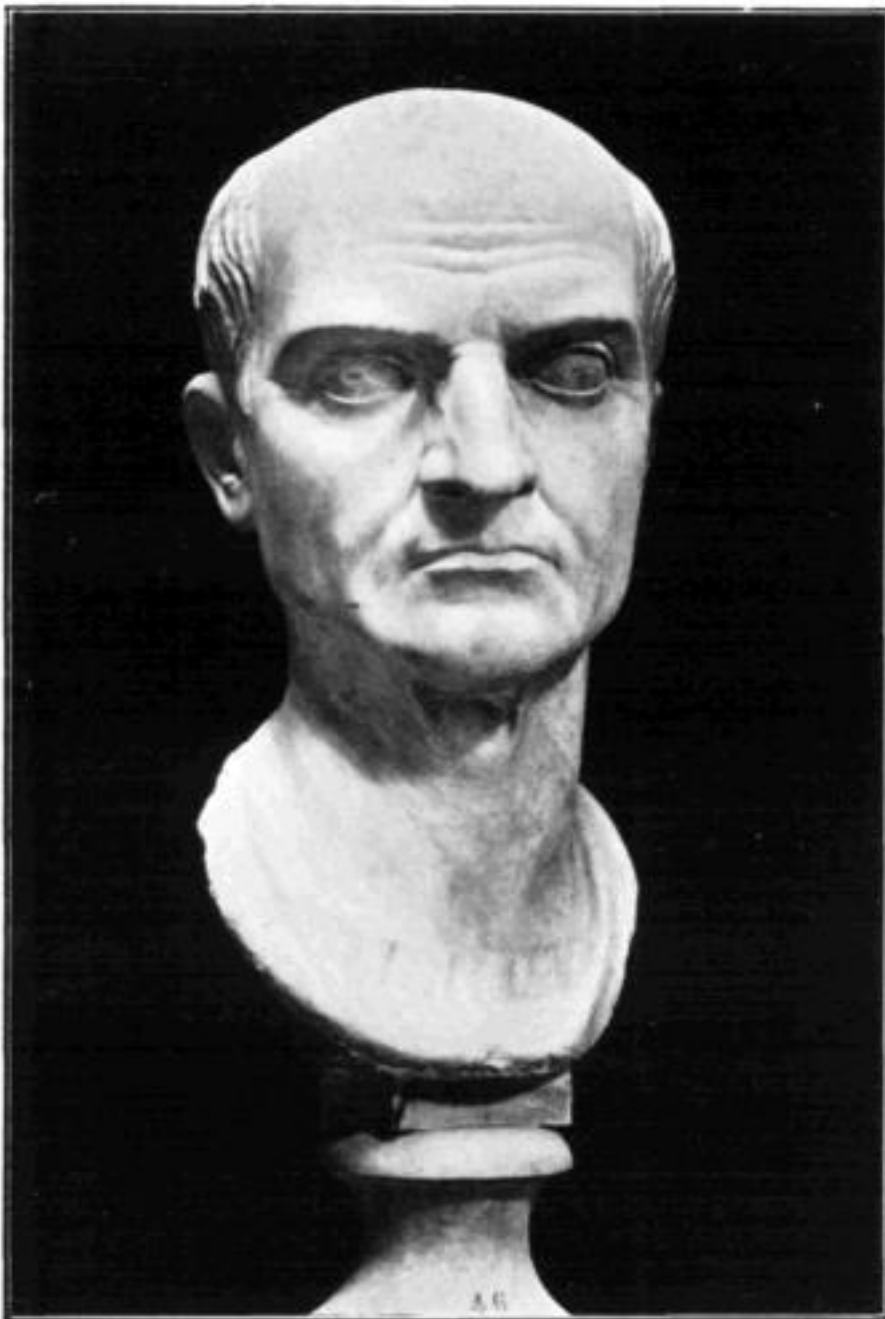


Фото Алиари]

[Дворец консерваторов, Рим.

МАЦЕНА.

Перед Горацием, тогда уже двадцатисемилетним, открылись эти внушительные двери. Первая беседа была неудовлетворительной: юный поэт болтал языком и заикался, великий человек был сдержан и надменен: они расстались взаимно неудовлетворенными. Девять месяцев спустя Меценат снова послал за , тепло принял его и официально зачислил в число своих друзей. (Гораций сам рассказывает эту историю: он не объясняет ни первой холодности, ни долгой паузы, ни последующего радушия. Но он быстро возвысился в глазах своего покровителя; через год после этого он был приглашен Меценатом в путешествие в Брундизий, о котором он оставил нам забавный дневник (Sat. I, v); а еще через три года он

подарил ему загородный дом и ферму среди Сабинских холмов, в нескольких милях к востоку от Тибура, или, как его теперь называют, Тиволи.

С этого началась новая глава в его жизни. В течение шести лет он жил в Риме, сначала в качестве безбедного клерка, затем как клиент Мецената. Во всех римских домах, отличавшихся высоким уровнем жизни и знатностью, клиенты были необходимым дополнением: люди в большинстве своем скромные и нуждающиеся, которые приветствовали покровителя, выходя утром из его покоев, шли впереди и окружали его повозку на улицах, освобождая ей дорогу в толпе; короче говоря, составляли его двор, вознаграждаемый ежедневной корзиной с продуктами или небольшой суммой денег. Если клиент был вовлечен в тяжбу, его покровитель лично или через своего заместителя отстаивал его интересы; иногда его приглашали на обед, где его отступления от благовоспитанности и немодная одежда, деревенская стрижка бороды, толстые башмаки, неуклюже задрапированное платье, делали его объектом нападок со стороны высоких гостей. Ювенал в язвительной сатире описывает унижение бедного клиента за столом богача. "Хозяин, - говорит он, - пьет старое пчелиное сетуанское вино, которое ему в золотом кубке красивый мальчик; тебе грубый черный раб приносит в треснувшей чашке вино, слишком поганое, чтобы разжечь сияк. Его хлеб чист и бел, ваш - коричневый и заплесневелый; перед ним - огромный омар, перед вами - тощий береговой краб; его рыба - барбус или минога, ваша - угорь; и, если вы решите смириться с этим, вас правильно обслужат". Эти отношения, хотя и не считались позорными, иногда были сопряжены с горькими страданиями и, как нам кажется, несовместимы с самоуважением. Мы помним, как в наше время, хотя и в гораздо более мягкой форме, возмущались этим Эдмундом Спенсером, доктором Джонсоном и поэтом Крэдбе. Даже между Горацием и Меценатом это, должно быть, иногда вызывало неловкость: например, первый посвящал стихи людям, чей характер он не мог уважать, но которым, как приближенным своего покровителя, он должен был оказывать почтение; в то время как его предполагаемая близость к всемогущему министру подвергала его нудным приставаниям, которые преследовали его во время ежедневных прогулок. Он устал от "дыма, величия и грохота Рима" (Od. III, 29, 12); его сабинский приют станет убежищем и пристанищем, "вернет его к самому себе", наделит его компетентностью, досугом, свободой; он взывает к нему, какмышь в восхитительной апологии жаждет укрыться в деревне от великолепия и опасностей города:

Дай мне снова мое дуплистое дерево,

Корку хлеба и свободу.

(Сб. II, 6, fin.)

УСПЕХ

Сабинский хутор Горация занимает одно из первых мест среди святых мест классического мира; благодаря трудам последующих путешественников, руководствующихся разрозненными указаниями в его стихах, его местонахождение можно определить достаточно точно. Он находился примерно в тридцати двух милях от Рима, до которого нынешние паломники добираются за пару часов; для Горация, который никогда не позволял себе спешить, путешествие длилось целый день или полтора неспешных дня. Давайте проследим за ним, как он едет туда на своем муле (Sat. I, vi, 104), в тяжелых седельных сумках которого хранятся свитки Платона, философа Менандра, комедиографа Эвполиса, лирического поэта Архилоха. Его путь лежит по Валерианскому пути, от которого до сих пор сохранились древние мостовые, вдоль быстрых вод Анио, среди крутых холмов, увенчанных небольшими деревнями, жители которых, подобно кенитам из рапсодии Валаама, свили гнезда в скалах. Проехав двадцать семь миль, он добирался до Тиволи, или Тибура, где останавливался отдохнуть, а иногда и переночевать, имея, вполне вероятно, домик в этом городке. Ни одно место за пределами родного дома не привлекало его так, как это. Девять раз он упоминает его, почти всегда с ласковым эпитетом. Это зеленый Тибур, орошенный росой Тибур, Тибур никогда не засушливый, неторопливый Тибур, Тибур с ветерком, Тибур, склоненный к солнцу. Он велит своему другу Вару посадить там виноградники на влажной почве своей тибуртинской вотчины; молится, чтобы, когда иссякнет песок его жизни, он мог там закончить свои дни; перечисляет в благородной оде (Od. I, 7) прекраснейшие места на земле, предпочитая им всем стремнину Анио, рощи Тибура, его сады, насыщенные переменчивыми потоками.

Темные сосны плещутся на классических кручах Тибура,
Со скалы на скалу прыгают стремительные воды,
вздымая свою пену, пока листья и цветы
Сверкают, как изумруды, в искрящемся ливне.
Прекрасно, но еще прекраснее от очарования, которое сияет.
Там, где Латиум раскинул свои пурпурные долины;
Олива, улыбающаяся на солнечном холме,
Золотой сад и вязкий ручей,
Родник, бурлящий в своем скалистом фонтане,
Заросшая мхом пещера, сказочное обиталище наяд,
И, насколько хватает глаз, тенистый купол,
Слава земли, Вечный Рим.

Ни одна картина этого места не может быть более наглядной, чем эти благородные строки. Они открывают поэму Ньюдигейтской премии восьмидесятилетней давности, написанную, по преданию, ее блестящим автором за одну ночь. (Р. К. Сьюэлл, Магдален-колледж, 1825 год.) Тиволи он никогда не посещал; но те, кто сегодня стоит рядом с храмом Сибиллы на краю оврага, кто наслаждается красотой обрывистого Анио и меньших Каскателей,

разрушенного храма Тибуртуса, гротов Сирен и Нептуна, понимают, как гений поэта может, как говорит нам Шекспир, навести тень на невидимые вещи и дать им местное обиталище.

От Тибура, все еще на берегу Анио, мы проехали около семи миль, пока не достигли древней Вarii, ныне Вико Варо, упомянутой Горацием как небольшой рыночный городок, куда его пять фермеров-арендаторов приезжали по сельскохозяйственным или муниципальным делам. Здесь мы находимся в стране поэта и должны ориентироваться на ориентиры его стихов (Ер. I, xiv, 3.). Сразу за Вико Варо к Анио присоединяется Личенца. Это Digentia Горация, поток, который он называет ледяными водами, освежающими его, поток, из которого пьет Мандела. (А там, на его противоположном берегу, находится современная деревня Бардела, которую отождествляют с Манделой благодаря недавно выкопанной надписи на могиле. Мы поворачиваем на север, следуя за ручьем; дорога становится ужасающе крутой, напоминая о строке, в которой поэт говорит о возвращении домой "в свою горную твердыню". (Сб. II, vi, 16.) Вскоре мы достигаем деревни Роккаджовине, центральная площадь которой называется площадью Вакуна. Вакуна - древнее имя богини Победы, а на стене прикреплена извлеченная из земли табличка, рассказывающая о том, как император Веспасиан восстановил здесь древний храм Победы. Еще одно эхо это имя пробуждает в ушах Горация - он датирует письмо к своему другу Аристию Фуску как написанное "за разрушающимся святилищем Вакуны". (Ер. I, x, 49.) Очевидно, мы сейчас находимся рядом с ним; он не стал бы носить свои письменные принадлежности далеко от двери. Требуется еще одно подтверждение. Он говорит об источнике рядом со своим домом, прохладном и прекрасном, целебном для головы и желудка (Ер. I, xvi, 12.) Вот он, неподалеку, называемый сегодня Фонте д'Оратини, сохранившийся, как нам хотелось бы верить, от имени Гораций. Где-то поблизости должна была находиться вилла, на одной или другой стороне небольшого холма, который сейчас называется Монте-Ротондо. Мы можем достать из кармана своего Горация и почувствовать, как и Вордсворт в Дав Коттедже, и Скотт в Ашестиле, что мы смотрим на холмы, ручьи и долины, которые приняли изначальные излияния их музыки и навсегда остались в памяти.



МЕСТО, ГДЕ НАХОДИЛАСЬ ВИЛЛА ГОРАЦИЯ.

От М. Ротондо, на восток до Личенцы и на юг до возвышенности Роккоджовине, простиралось, по-видимому, немаленькое поместье поэта. Часть его он сдал в аренду пяти крестьянам по системе *métayage*; остальное он обрабатывал сам, нанимая восемь рабов под присмотром пристава. Дом, по его словам, был прост, без мраморных колонн и позолоченных карнизов (Od. II, xviii), но достаточно просторен, чтобы принять и развлечь гостя из города и время от времени приглашать соседей на веселые вечерние посиделки - "ночи и ужины, как у богов" (Sat. II, vi, 65), как он их называет; где разговоры были немодно чистыми и разумными, блюда из бобов и бекона, огородные овощи, цикорий и мальвы. Вокруг виллы был сад, не заполненный цветами, к которым в одной из своих од он выражает неприязнь как к не приносящим дохода (Od. II, xv, 6), но разбитый небольшими параллелограммами травы, окаймленный ящиками и засаженный подстриженным грабом. Сверху дом затеняла роща иллексов и дубов; ниже располагались сады маслин, диких слив, кизила, яблок. На более богатой почве долины он выращивал кукурузу, урожаи которой никогда его не подводили, и, подобно Еве в Эдеме, повел виноградную лозу на свадьбу с вязом. Против этого последнего эксперимента ворчал его пристав, говоря, что на этой почве будут расти пряности и перец, как только созреет виноград (Ep. I, xiv, 23); но его хозяин упорствовал и добился успеха. Пригласив Мецената на ужин, он предлагает сабинское вино из своего поместья (Od. I, xx, 1); и посетители сегодняшнего дня, попивая сок местного винограда в маленьком трактире Роккоджовина, будут согласны с мнением месье де Флорака, что "это маленькое вино страны имеет самый приятный привкус". Здесь он прогуливался день за днем, наблюдал за своими рабочими, иногда, подобно Рёскину в Хинкси, неловко работая своими руками для их развлечения; то и дело забредал на покрытые лишайником скалы и в лесные дебри за пределами своей фермы, где однажды был удивлен огромным волком, который, к счастью, убежал от его присутствия (Od. I, xxii, 9); или - самое приятное из всего - лежал у источника или реки с книгой или другом любого пола.

Книга стихов под веткой,

Буханка хлеба, кувшин вина, и ты

Рядом со мной, поющим в пустыне,

О, в пустыне был бы рай!

Так перекатываются друг к другу через века и континенты отголоски персидских и римских бардов.

О красоте своего дома он говорит всегда скромно; он не может сравниться с Праенестой, Тарентумом, Байями, но его *очарование* он не устает превозносить. Нигде, говорит он, нет воздуха слаще и благодатнее, летом он умеренный, зимой теплый; но помимо всего этого он дарит спокойствие, умиротворение, отдых, превращая, как говорит Вордсворт, саму мысль о деревенской жизни в мысль об убежище; и это было то, что он так долго искал в густонаселенном городе, и нашел. Это был его *дом*, где он мог владеть своей душой, мог быть эгоцентричным и безмятежным. "В этом, - говорит Рёскин, - истинная природа дома; это место покоя".

Он любил деревню, но не был отшельником. Когда ему надоедала городская жизнь, он мог апострофировать деревню в прекрасных строках, которые повторяет многие измученные лондонцы (Sat. II, vi, 60); но после нескольких месяцев ее безмятежных радостей активная социальная сторона его личности вновь заявляла о себе: гостеприимные друзья большого города, его блестящие разговоры, его спешка оживленной жизни возвращали свою привлекательность, и на короткие промежутки времени, в здоровое время года, он возвращался в Рим. Там его образ не так прост, как в его деревенском доме. Природа, если ее пощадил человек, осталась неизменной; высоты и углубления Дигентской долины и сегодня встречают наш взор мало изменившимися за двадцать веков, но оживленный, многолюдный Рим Горация теперь - лишь заброшенный котлован. Мы стоим на "Триумфальной скале", Капитолийском холме, и смотрим вниз на Форум: он лежит, как двор каменщика: пни колонн, обломки кирпича или мрамора, свергнутые антаблементы, столбы, алтари, путаница лестниц и ограждений, перемежающаяся с маками, диким овсом, трилистником, путают и теснят его:

Кипарис и плющ, сорняки и цветы.

сплетенные вместе, нагроможденные буграми.

На том, что было палатами; арки раздавлены, колонны повалены

В осколках; захламлинные своды, куда заглянула сова,

считая, что наступила полночь.

Но терпеливый, ежедневный осмотр, воспитанный реставрацией Ланциани, позволяет нам собрать воедино эти громоздкие руины, пока мы не можем с достаточной ясностью проследить за Горацием, который шел по Виа Сакра к садам Цезаря, и точно восстановить объекты, которые должны были встретиться его взгляду. Повсюду - призраки: бронзовый волк Капитолия, "громовая нянька Рима", Тарпейская скала, с которой "прыжок Предателя излечил все честолобие". Здесь есть и мифический залив Курция, и Мамертинская тюрьма, где были задушены заговорщики Катилины, и свод, в который Югурта, после того как он украсил триумф Мария, был брошен умирать. Девичий папоротник обильно растет в расщелинах колодца Ютурны, расположенного у источника, где великие братья-близнецы

поили своих коней после битвы на Регилловом озере. Наполовину покрытое массой зеленого аканта основание храма Весты, примыкающего к атриуму дома девственниц, окруженного их портретными статуями: их имена выгравированы на каждом пьедестале, но одно из них тщательно стерто, так как его оригинал, как предполагается, нарушил свой обет весталки. Мы останавливаемся на месте, где было сожжено тело Цезаря, и рядом с рострой, с которой Цицерон гремел, а Антоний произносил свои "Друзья, римляне, соотечественники"; наконец, возвращаемся в Капитолийский музей, ядро и центр древней владычицы мира, чтобы взглянуть на богов, сенаторов, императоров, сияющих по-прежнему в неизменном величии; на Антиноя, Амазонку, Юнону, Умирающего гладиатора и греческий шедевр Праксителя.



Фото Алинари].

РИМСКИЙ ФОРУМ.

О своей жизни в Риме Гораций оставил нам подробный рассказ (Sat. I, vi, 110 и др.).

"Проснувшись обычно около шести, я лежу в постели или на диване, читаю и пишу, почти до десяти часов; помазавшись, иду в Кампус для игры в мяч, возвращаюсь домой к легкому обеду. Затем, возможно, я развлекаюсь дома, возможно, прогуливаюсь по городу; заглядываю в цирк и сплетничаю с гадалками, которые толпятся там, когда игры заканчиваются; прогуливаюсь по рынку, интересуясь ценами на садовые вещи и зерно. Ближе к вечеру я возвращаюсь домой, чтобы поужинать луком-пореем, пульсом и оладьями, которые подают три моих раба на белой мраморной плите, где, кроме двух питьевых чашек и половника, стоят солонка в форме морского ежа, фляга для масла и блюдо из дешевой кампанской посуды; и вот наконец я ложусь спать, не терзаясь мыслью, что мне нужно встать на рассвете". Иногда, к его великой досаде, он просыпался рано утром, чтобы стать поручителем в суде для друга; дрожа от утреннего холода, осыпаемый падающими градинами, оскорбляемый толпой, через которую ему приходилось пробиваться. Или он сопровождал Мецената в поездке, и они говорили о пустяках - времени суток, ранних заморозках, достоинствах популярных гладиаторов. Мы помним, как восхитительно Поуп

приспособил этот отрывок к своим собственным отношениям с Харли. (Часто он обедал с Меценатом или его друзьями, и один из таких обедов он описал в доме богатого, вульгарного эпикура (Sat. II, viii). Гостей было девять, включая Мецената, Вария и Вискуса: они возлежали на кушетках за столами из кленового дерева, расставленными по трем сторонам квадрата. Первым блюдом был луканский кабан, гарнированный салатами; когда его убрали, слуги вытерли стол пурпурными салфетками. Затем процессия рабов внесла цекубские и чианские вина, сопровождаемые чизкейками, рыбой и яблоками. Вторым блюдом была огромная минога, в соусе которой плавали креветки; третьим - олио из журавля, зайца, гусиной печени, дроздов и лесных голубей. Роскошная трапеза, но испорченная утомительными рассказами хозяина о каждом блюде по мере его появления. О светских раутах в их высшем аспекте, о пирах разума, которые он, должно быть, часто разделял за столом своего покровителя, нам хотелось бы знать, но Гораций сдержан; для него роза Гарпократы висела над каждым каенобием, и он не хотел осквернять ее таинство. Он сидел там как равный, мы знаем; в его отношении к тем, кто был выше его, не было и тени раболепия. О том, что он независим и намерен быть независимым, они были справедливо предупреждены; когда Меценат пожелал наделить его еще благами, он отказался: "Того, что у меня есть, достаточно и даже более чем достаточно, - сказал он, - но если фортуна дрогнет крыльями и покинет меня, я знаю, как отказаться от ее даров" (Од. III, xxix, 53). И если не Меценату, то и не его господину Меценат пожертвовал бы своей свободой. Император искал его дружбы, ласково писал Меценату об "этом милейшем человечке", хотел сделать его своим секретарем, не обижался на его отказ. В его письмах используется свобода интимного общения. "Септимий скажет тебе, как высоко я тебя ценю. Мне случилось говорить о тебе в его присутствии; если ты пренебрегаешь моей дружбой, я не стану пренебрегать в ответ." - "Я хотел бы, чтобы твоя маленькая книга была больше; ты, кажется, боишься, чтобы твои книги не стали больше тебя самого." - "Я досаую на тебя, что ты никогда не адресовал ни одного из своих Посланий мне; ты боишься, что появление в качестве моего друга повредит тебе в потомстве?" Такие королевские просьбы - это приказ, и Гораций ответил на него самым длинным и одним из самых восхитительных своих Посланий (Ep. II, i). Это была его последняя работа, если только фрагментарное эссе о критике, известное как "Искусство поэзии", не относится к этим последним годам; если это так, то его заключительные слова были шутливым пренебрежением к "домашнему ничтожному пастушьему ремеслу" (A. P. 470-476).

Его жизнь подходила к концу, друзья падали вокруг него, как листья в ветреную погоду. Тибулл был мертв, как и Вергилий, самый дорогой и белоснежный из людей (Sat. I, v, 41); Меценат был слаб здоровьем и не в фаворе. Старость пришла к нему раньше времени; любовь, и вино, и праздничный венец из цветов потеряли свою изюминку:

Вскоре угасает вкус к шуму и раздолью,

Когда волосы белы, а листья увяли.

Но он собирает всю свою жизненную философию, чтобы встретить перемены; терпение облегчает неизбежное; пока каждый день принадлежит ему, он будет проводить и наслаждаться им так, чтобы в конце его сказать: "Я жил" (Od. III, xxix, 41). Его здоровье никогда не было крепким, подорванным, по его мнению, тяготами кампании с Брутом; все заботы искусного врача Августа, Антония Мусы, не смогли продлить его дни. Он скончался 17 ноября 8 г. до н. э. на пятьдесят седьмом году жизни; его похоронили на Эсквилинском холме, в могиле рядом с усыпальницей Мецената, который умер всего за несколько дней до этого; исполнилось обещание ранней оды, составленной почти по словам моавитянки Руфь, что он не переживет своего друга.

В тот же день
Сокрушит нас двоих; не пустая клятва
Гораций поклялся; куда бы ты ни пошел,
Мы оба отправимся, оба отправимся
В последний мрачный путь под землю.
Od. II, xvii.

САТИРЫ И ПОСЛАНИЯ

Стихотворения Горация состоят из двух видов: сатиры и эпистолы, оды и эподы. Их порядок и даты публикации приведены в следующей таблице:

ДО Н.Э.

- 35. Первая книга Сатир.
- 30. Вторая книга сатир и эподов.
- 23. Первые три книги од.
- 20. Первая книга Посланий.
- 19. Послание к Флору.
- 17. Гимн столетия.

около 13. Четвертая книга од.

- 13. Послание к Августу.

(?) 10. Искусство поэзии.

Сначала рассмотрим сатиры и послания. Слово "сатира" первоначально означало *фарраго*, переплетение различных тем в разных стилях и метрах. Но все ранние сочинения такого рода исчезли, и первый дошедший до нас латинский сатирик Луцилий, живший во втором веке до нашей эры, посвятил свое перо обличению пороков современного ему общества и живых людей. Этот стиль письма, вместе с его шестистопным размером, называемым гекзаметром, был перенят следующими за ним этическими писателями, Горацием, Персием, Ювеналом, и таким образом придал слову "сатира" значение, которое оно сохраняет и по сей день. В более чем одном отрывке Гораций признает Луцилия своим учителем и подражает ему в том, что, вероятно, является самой ранней, безусловно, самой грубой и наименее художественной из его поэм; но более зрелые суждения, восстающие позже против цензурного духа и дурного вкуса старшего писателя, заставили его отказаться от своей модели. Ибо хороший вкус - характерная черта этих стихотворений; они представляют собой комедию нравов, в которой с лету бьют по глупости, а не по пороку: не раскаленным

железом, а "просто щелчком поднятой плети", Гораций стоит перед Ювеналом, как Чосер перед Ленглендом, как Данте перед Боккаччо. Его тема - жизнь и поведение, истинный путь к счастью и добру. Я пишу проповеди в спорте, говорит он, но проповеди согрешившего человека, а не догматика-пульпитера, не цензора и не циника. "Беседы", скорее можно назвать их; отшлифованные разговоры воспитанного, культурного, опытного мирского человека, освещающие мораль, которую он всегда держит в поле зрения, переходами, личностями, иронией, анекдотами; совершенным литературным изяществом, лежащей в основе симпатией, благодаря которой остроумие сублимируется и смягчается в юмор.

Он рассказывает истории, часто тривиальные, но искупаемые легкостью его прикосновений, избеганием излишеств, неизбежными эпитетами, кульминацией и развязкой. Он иллюстрирует расточительность того времени на примере расточительного Клодия, который растворил в уксусе жемчужину, взятую уха прекрасной Метеллы (Sat. II, iii, 239), чтобы с удовольствием выпить за один раз миллион сестерций, около тысячи фунтов. Не раз он возвращается к осуждению обжорства, которое, хотя еще не достигло чудовищности, описанной Ювеналом, вторгалось в дома богачей. Он рассказывает о двух братьях - "драгоценной паре", - которые ежедневно завтракали соловьями: о некоем Маэнии, который разорял себя на полевых полях (Ep. I, xv, 41). В работе "Искусство обедать" он накапливает иронические гастрономические максимы (Sat. II, iv): например, что продолговатые яйца лучше круглых; что капусту следует выращивать в сухой земле; что передние ноги кобылы - это отличная синица; что для того, чтобы сделать птицу нежной, ее нужно погрузить живой в кипящее вино и воду; что устрицы лучше всего есть в новолуние; что креветки и улитки придают вину пикантность; что оливковое масло следует смешивать с маринованной икрой тунца, рубленой зеленью и шафраном. Если соблюдать эти предписания, говорит он, пародируя тонкую лукрецианскую линию, то обедающий сможет приблизиться к источнику счастливой жизни и испить из него до дна. В качестве контраста он рисует характер фермера Офелла, которого он знал еще мальчиком на апулийских холмах и навещал в старости (Sat. II, ii). Лишившись своего поместья после Филиппа, Офелл арендовал его у нового хозяина, работая в качестве арендатора там, где раньше был господином. "Чем мы теперь хуже?" - говорит галантный старик своим сыновьям. "Когда я был богат, мы жили на копченом беконе и капусте, а если к нам заглядывал друг, то, возможно, на пуле или ребенке; на десерт у нас был инжир и изюм, выращенные на ферме. Так вот, сегодня у нас все то же самое. Какая разница, что тогда меня называли "хозяином", что теперь хозяином называют незнакомца? Нет такого понятия, как "хозяин". Этот человек выгнал нас, завтра его может выгнать кто-то другой; его наследник, во всяком случае, сделает это, когда умрет. Ферма когда-то называлась моей, сегодня она называется его; она никогда не может "принадлежать" никому, кроме того, кто ее обрабатывает и использует. Так что, мальчики мои, держите крепкие сердца и будьте готовы смело встретить невзгоды, когда они придут".

Он бичует охотников за наследством, которые во времена, когда нежелание жениться увеличило число бездетных стариков, становились проклятием для общества; с поразительной серьезностью излагает правила ловли рыбы в кладах старшего (Sat. II, v). Обязательно посылайте ему дичь, часто говорите ему, как вы его любите, обращайтесь к нему по его первому, как мы бы сказали, христианскому, имени - это щекочет чувствительные уши. Если он предложит вам свое завещание, откажитесь его читать, но боковым зрением посмотрите на строку, где написаны имена наследников. Хвалите его плохие стихи, прокладывайте ему дорогу на улицах, умоляйте укрыть от холода его старую добрую голову, миритесь с его экономкой, льстите ему, пока он не попросит вас остановиться. А когда он умрет и вы окажетесь его наследником, проливайте слезы, тратьте деньги на его похороны, кротко несите почести и продолжайте практиковать на ком-нибудь другом". И он вбрасывает

хитрую историю о завещательнице, которая завещала свои деньги при условии, что наследник будет нести до могилы на своих голых плечах ее тело, намазанное маслом; он прилип к ней на всю жизнь, и она надеялась стряхнуть его с себя хоть на мгновение после смерти. Он внушает добродетель умеренности и довольства из басен Эзопа: о лягушке, о змее с заимствованным оперением, о тощем проныре, который протиснулся в амбар через крошечное отверстие и так растолстел, что не смог вернуться; из истории о Филиппе, который развлекался тем, что обогащал бедняка, разрушая покой и счастье своей жертвы (Ep. I, vii, 46); и из восхитительной апологии городской и деревенской мыши (Sat. II, vi). Он обличает глупость скупости на примере муравья, предусмотрительного в накоплении запасов, но спокойного в их расходовании; порицает недоброжелательное суждение о ближних почти словами приора, призывая нас быть к их недостаткам немного слепыми, а к их достоинствам очень добрыми, смягчая их нравственные изъязны, как влюбленные и матери смягчают физические недостатки близкого человека. (Sat. I, iii) "Вы меня не слушаете?" - говорит он время от времени; "Я буду продолжать кричать все так же, пока не разбужу вас, как это сделала на днях публика в театре" (Sat. II, iii, 60). Некий Фуфий, популярный актер, играл в трагедии роль троянской Илионы, которая должна была заснуть на сцене, пока ее не разбудит шепотом "Мать проснись!" призрак ее мертвого сына Деифила. Бедный Фуфий был навеселе, уснул всерьез и был невосприимчив к призыву призрака, пока зрители, включившись в веселье, дружно не закричали: "Проснись, мать!". Некоторые из вас, я знаю, - продолжает он, - прислушаются, как и Полемон (Sat. II, iii, 254). Возвращаясь с дебоша, молодой распутник проходил мимо Академии, где читал лекции Ксенократ, и буйно ворвался внутрь. Вскоре, вместо того чтобы насмеяться, он начал прислушиваться, был тронут, растроган и опечален, сокрушенно сорвал с себя свои женоподобные украшения, длинные рукава, пурпурные гамашы, кашне, гирлянду с головы, ожерелье с горла; ушел изменившимся и обращенным человеком. Вспоминается стихотворение Россетти, а ведь это не так давно; разве не слышали мы эту историю из уст мудреца мистера Барлоу во времена Сэндфорда и Мертонского салата?

В ранних сатирах его персоналии иногда грубы: болтун Фабий, скупердяй Номентан, ясноглазый Криспин, пошляк Гермоген, траншейщик Пантолаб, козлоногий Горгоний, благоухающий пастилой Руфилл - это насмешливые прозвища, которые, хотя и служили цензуре читателей по именам подлинным или хорошо понятным, должны были горько обижать людей, которых таким образом клеймили или прозрачно обозначали. Это он с сожалением признает в своих поздних "Сатирах", сваливая часть вины на практику своего отца, который, предостерегая его от порока, всегда подкреплял предупреждение каким-нибудь примером из числа своих знакомых. Поэтому, оставив личную сатиру, он обращается к другим темам; с удовольствием рассказывает о неприятностях путешествия; о комарах, лягушках, которые квакали всю ночь (Sat. I, v), о плохой воде и плохо пропеченном хлебе. Или он рисует грязный квартал города, в котором ведьмы проводили свои ужасные обряды, и описывает их жестокие оргии, когда он подглядывал за ними сквозь деревья однажды ночью. Или он беззлобно и без горечи Персия или Ювенала охаивает евреев (Sat. I, v, 100), чья суровая исключительность веры начинала вызывать в Риме ужас, энергично выраженный Галлио в недавней блестящей работе М. Анатоля Франса. Или он обрисовывает, на полном полотне и с современностью, которая является одной из его самых привлекательных черт, "Боре" эпохи Августа. Летним утром он, легкомысленный и ни о чем не думающий, отправляется на приятную прогулку по Священному пути (Sat. I, ix).¹ К нему подходит человек, которого он почти не знал, игнорирует жесткий ответ, цепляется за него, отказывается стряхнуть, поет ему хвалу как поэту, музыканту, танцору, задает дерзкие вопросы о хозяйстве и привычках Мецената. Их встречает друг Горация Фуск; поэт кивает и подмигивает, умоляя его вмешаться в спасение. Жестокий Фуск видит все это, озорно

извиняется, не хочет помочь, и застенчивый, приветливый поэт идет дальше со своим мучителем, "опустив уши, как осел отяжелевший". Наконец один из кредиторов зануды подходит, осыпает его угрозами, отдает под суд, а облегченный поэт на радостях цитирует слова из Илиады о спасении Гектора: "Так Аполлон меня вынес из боя". В этой сатире, которой восхитительно подражал Свифт, мне всегда кажется, что мы получаем Горация в его лучшем виде, с его сухой причудливостью и безобидным весельем. *Изысканность* римской сатиры умерла вместе с ним, чтобы вновь появиться в наш августовский век у Аддисона и Стила, найти слабый отзвук в нежных проповедях Коупера, запечатлеть себя на каждой странице язвительного юмора, самокритичной терпимости, пронизательного, но доброжелательного остроумия Теккерея.

Между последними "Сатирами" и самыми ранними "Посланиями" лежит промежуток примерно в десять лет, в течение которых были опубликованы "Эподы" и большинство "Од". "Посланиями" его редакторы согласились их озаглавить; но не все они являются настоящими письмами. Некоторые скорее посвящены, чем написаны людям, чьи имена они носят; некоторые брошены в литературных целях в эпистолярную форму; некоторые снова определенно и лично обращены к друзьям. "Проповедями" он называет их сам, как называл сатиры, и мотив их в основном тот же; как и те, они представляют собой беседы, только не с настоящими собеседниками, реальными или воображаемыми, а с отсутствующими корреспондентами. В них он продолжает старую тему - искусство жить, счастье умеренности и довольства; проповедует легко, как из мягкого кресла Рабле, со всем остроумием француза, без его грубости. И, читая, мы чувствуем, как десять лет опыта, размышлений, учебы вызревали его взгляды на жизнь, как снова труд, потраченный во время их прогресса на лирическое сочинение, и, возможно, растущее влияние на его вкус поэзии Вергилия, тренировали его слух, смягчали и утончали его стиль. "Послания Горация, - говорит Дин Милман, - наряду с "Поэмой" Лукреция, "Георгиками" Вергилия и, возможно, "Сатирами" Ювенала, являются самой совершенной и самой оригинальной формой римского стиха".

Из трех писем к Мecenату одно, как и ода, которую мы уже цитировали на стр. 28, представляет собой энергичное утверждение независимости. Великий человек, тяжело больной и тоскующий по своему другу, раздраженно писал (Ep. I, vii): "Ты сказал, что будешь отсутствовать только пять дней, а сам пробыл весь август". "Ну, я уехал, потому что был болен, и я остаюсь в отъезде, потому что в этот "месяц гробовщиков", как вы называете его в Риме, я боюсь, что мне будет хуже, если я вернусь. Когда наступят холода, я поеду к морю; тогда, с первой ласточкой, дорогой друг, твой поэт вновь обратится к тебе. Я нежно люблю вас, я благодарен вам каждый час моей жизни, но если вы хотите, чтобы я всегда был рядом с вами, вы должны вернуть мне нежную грацию ушедшей юности, сильные легкие, густые черные волосы, музыкальный голос и звонкий смех; наша общая любовь к милой Синаре теперь умерла и исчезла". Твердый положительный отказ, не без намека на то, что если покровитель раскаивается своих благодеяниях или требует пожертвовать свободой в обмен на них, ему лучше взять их обратно: и все же отповедь настолько обезоруживающая, пронизанная такой смесью уважения и игривости, таким богатством остроумных анекдотов и классических аллюзий, что мы представляем, как раздражение успокоенного покровителя испаряется в восхищении, когда он читает, как ответ ласкового извинения и принятия диктуется в его умиротворенном ответе.

В другом неподражаемом письме (Ep. I, 9), столь же кратком, сколь и длинном, он рекомендует своего друга Септимия Тиберию Клавдию Нерону, пасынку Августа, молодому человеку со сдержанными неприятными манерами, к которому трудно подойти.

Убедительное изящество, с которым он отвергает самонадеянность, но при этом заявляет о своих достоинствах как просителя и достоинствах своего друга как кандидата на благосклонность, с его достойным почтением, подразумеваемым, но не полным, к рангу молодого принца, заставило сравнить его с шедевром тонкой просьбы, Посланием Святого Павла к Филемону. Его цитирует Стил в "Зрителе" как образец эпистолярного такта ("Зритель", № 493); мы не можем улучшить его перевод:

"Септимий, который ждет от тебя этого, явно хорошо знаком с тем местом, которое ты благоволишь отвести мне в своей дружбе. Ибо когда он просит меня рекомендовать его тебе таким образом, чтобы ты, щепетильный в выборе друзей и домашних, принял его, он знает о нашей близости и понимает мою способность служить ему лучше, чем я сам. Я защищался от его стремления стать вашим, сколько мог; но, опасаясь обвинения в том, что я скрываю свое влияние на вас из подлых и корыстных соображений, я, наконец, был вынужден доставить вам эту неприятность. Таким образом, чтобы избежать видимости более серьезной вины, я оказал вам это доверие. Если вы можете простить такое нарушение скромности в отношении друга, примите этого джентльмена в свои интересы и дружбу и примите от меня уверения, что он храбрый и честный человек".

Послание, написанное и отправленное примерно в то же время, возможно, тем же адресатом, показывает Горация в приятном свете как доброго наставника молодых Телемахов, служивших в штате Тиберия (Ер. I, iii). "Скажи мне, Флор, где ты сейчас, в заснеженной Фракии или гениальной Азии? Кто из вас, поэтов, пишет подвиги Августа? Как Тиций справляется с латинским переводом Пиндара? Мой дорогой друг Цельс, над чем он работает? Надеюсь, над своими собственными идеями, а не над вырезками из библиотечных книг. А вы? Отказываетесь ли вы от всех прочих соблазнов ради чар божественной философии? Скажи мне также, загладил ли ты свою ссору с Мунатием. Разорвать братские узы - преступление: пожалуйста, подружись с ним снова и возьми его с собой, когда в следующий раз придешь ко мне. Я откармливаю теленка, чтобы попотчевать вас обоих". Вот приглашение на ужин (Ер. I, v.): "Если ты сможешь смириться с накрытыми столами, с зеленью, поданной на общем блюде, с вином пятилетней давности и совсем не плохим, приходи и пообедай со мной, Торкват, на закате. Мы вывели очаг и вычистили мебель; ты сможешь увидеть свое лицо, отраженное в чашках и блюдах. Мы проведем долгий летний вечер за разговорами, а потом ты сможешь спать сколько угодно, ведь завтра - день рождения Августа, и при дворе не будет никаких дел. Я сказал вам, что вино хорошее, а ничто не сравнится с хорошим напитком. Оно развязывает замкнутость, разгружает сердца, ободряет застенчивых, делает красноречивыми тех, кто не знает языка, а бедных - богатыми. Я хорошо подобрал себе компанию: не придется повторять наш разговор за дверью. Придут Бутра и Септимий, и, надеюсь, Сабинус. Просто напишите, кого бы вы хотели видеть помимо них. Приводите друзей, если хотите, но погода жаркая, и мы не должны переполнять комнаты". Все это звучит восхитительно, за исключением, пожалуй, путаницы с зеленью; но хороший итальянский повар и по сей день может сделать овощи соблазнительными. Думаю, мы все хотели бы оказаться там, как на изысканной трапезе аттического вкуса с вином, которая соблазнила добродетельного Лауренса пообедать с Мильтоном. Так же нам хотелось бы узнать, чем вызвано это милое нравоучение, обращенное к поэту Тибуллу (Ер. I, iv). Он был красив, благополучен, популярен, но при этом меланхоличен. Гораций ласково упрекает его. "Дорогой Альбий, - говорит он, используя интимное имя, - дорогой Альбий, скажи мне, чем ты занимаешься на своей прелестной вилле: пишешь нежные стихи, прогуливаешься по лесным полянам, с мыслями и фантазиями, которые, я уверен, должны быть у хорошего человека? Чего же вам желать, кроме красоты, богатства, полного кошелька и шикарного хозяйства, которыми вас одарили боги? Дорогой друг, я скажу вам, чего вы хотите, -

довольства настоящим часом. Попробуйте представить, что каждый день, который наступает для вас, - последний; тогда каждый последующий день будет неожиданным и восхитительным. Я практикую то, что проповедую: придите и посмотрите на меня; вы найдете меня довольным, гладким и упитанным, "самым толстым поросенком в стойле Эпикура". Тот же урок он преподносит и другому другу, Буллатию, который по какой-то причине был беспокоен дома и искал облегчения в путешествиях. "Что тебе мешает пронестись по Азии или поплавать среди греческих островов? Больные люди путешествуют ради здоровья, но ты здоров. Грустные люди путешествуют ради перемен, но перемены не избавляют от печали, яхты и фаэтоны не приносят счастья; они меняют небо, но не души, пересекающие море. Наслаждайся днем, дорогой друг, который дал тебе Бог, местом, куда Бог тебя поместил: малый Педлингтон весел, если ум свободен от забот" (Ер. I, xi).

Его великий друг Фуск подтрунивает над ним, как Уилл Хонейкомб подтрунивал над мистером Спектатором, с его страстью к деревенской жизни (Ер. I, x). "Ты стоик, - говорит Гораций, - твое кредо - жить в соответствии с природой. Где ты ожидаешь найти ее - в городе или в деревне? Что из этих двух видов дает более спокойные ночи и более сладкий сон? Мраморный пол освежает глаза больше, чем зеленый луг? Вода, льющаяся из свинцовых труб, чище, чем из хрустального источника? Даже среди ваших коринфских колонн вы сажаете деревья и кустарники; хотя вы и изгоняете природу, она безмолвно вернется и вытеснит ваши прихоти. Внесите немного легкости и отдыха в ту суету, которая сковывает вас в городе. Деньги должны быть слугой, а не королевой, пленником, а не завоевателем. Если вы хотите увидеть счастливого человека, приезжайте ко мне в деревню. Для полного счастья мне не хватает только одного - желания вашего общества". Два более длинных письма написаны его юному другу Лоллию (Ер. I, ii, xviii). Первое - это исследование Гомера, которого он читал в деревне. В "Илиаде" его отвращает безрассудный эгоизм вождей; в герое "Одиссеи" он видит образец терпеливой, мудрой стойкости и внушает этот пример своему другу. Любопытно, что великий поэт одной эпохи, читая великого поэта другой, должен обратить внимание не на поэзию, а на этику своего предшественника. Оставшееся письмо вызвано тем, что Лоллий назначен конфиденциальным секретарем какого-то важного человека; от такой должности Гораций отказался, когда ее предложил ему Август. Эта должность, говорит он, полна трудностей и опасна для самоуважения: рабство, которого она требует, будет невыносимо для такого правдивого, откровенного и независимого человека, как его друг. Пусть он откажется от нее; или, если уж решился, уйдет из нее как можно скорее.

Послания бывают без моральной цели, вызванные каким-то особым случаем. Он посылает свои "Оды" некой Аселле для вручения Августу, каламбуя над именем, изображая осла, нагруженного рукописями (Ер. I, xiii). Фантазия была реализована Поупом в фронтисписе к "Дунсиаде". Затем врач советует ему оставить Байи в качестве зимнего курорта, и он пишет некоему Вале, живущему в южной Италии, с вопросом о местах для водопоя ниже по побережью (Ер. I, xv). Он должен иметь место, где хлеб хорош, а вода чиста, вино щедрое и мягкое, на рынке продаются кабаны и зайцы, морские ежи и прекрасная рыба. Он может жить просто дома, но сейчас он болен и нуждается в уходе, чтобы вернуться толстым, как один из феакийцев - роскошных подданных, как мы помним, царя Алкиноя в "Одиссее".

Хорошую еду мы любим, и музыку, и танцы,

Одежду часто меняем, теплые ванны и покойные ложа.

Одиссея, viii, 248.

Юлий Флор, поэт и оратор, просит его писать больше лирики (Ер. II, ii). По многим причинам - нет, - отвечает он. Мне больше не нужны деньги. Я старею. Лирика вышла из моды. Никто не может писать в Риме. Я стал привередлив". Считается, что его набросок идеального поэта заимствован из сочинений его друга Вергилия. Его благородно перефразировал Поуп:

Но как сурово с собой поступают

Те, кто пишет такие стихи, какие мы можем читать!

Сами себе строгие судьи, ни слова не жалеют,

Что хочет или силы, или света, или веса, или заботы;

Наполняют красноречием весь поток,

Безмятежно чистое, но божественно сильное;

Обрезайте пышное, безлюдное облагораживайте,

Но не пощадите ни одной пустой строки;

Затем отполируйте все с такой жизнью и легкостью,

Вы думаете, что это природа и умение угодить;

Но легкость в письме проистекает из искусства, а не из случая,

Как легко двигаются те, кто научился танцевать.

Послание к Августу" (Ер. II, i) было написано (стр. 28) по просьбе императора. После обычных комплиментов оно переходит к критике латинской поэзии прошлого и настоящего; сравнивая, подобно "Битве книг" Свифта, достоинства современных и более древних мастеров. По его словам, сейчас существует глупая мания восхищаться нашими старыми поэтами не потому, что они хороши, а потому, что они старые. Зарождение и развитие римской поэзии привело к тому, что совершенство должно прийти поздно. Он допускает, что Август поборник современности, и хвалит его за проницательность, которая предпочла Вергилия и Вария (а значит, косвенно и Горация) Плавтусам и Теренциям прошлого.

Считается, что "Искусство поэзии" - незаконченный труд. Неспешная и лишенная пропорций, она, возможно, была либо неуклюже составлена после смерти поэта, либо небрежно собрана им самим на фоне лени, которая иногда наваливается на старость. В ней провозглашается, что основными элементами поэзии являются единство замысла и изобретательность дикции, подчеркивается, что механическая правильность должна быть вдохновлена глубиной чувства, даются технические правила драматического действия, хора, метра. Для такой материи Гораций был не нужен, но благодаря мастерству обращения с ней для многих студентов Горация он стал самым популярным из его разговорных произведений. Она изобилует пассажами законченной красоты, такими как его сравнение словесных новинок, привнесенных в литературу, со сменой лесной листвы; его четыре возраста человечества - детский, подростковый, мужественный, старческий - заимствованные у Аристотеля, расширенные Шекспиром и взятые на вооружение Китсом; его сравнение

поэзии с живописью; его обрисовка честного критика. Краткие фразы, ставшие классическими, изобилуют. "Пурпурная заплата", пришитая к трезвому повествованию; кувшин, превращающийся в кувшин при вращении гончарного круга; предписание хранить книгу десять лет, прежде чем опубликовать ее; близкое родство беглости и безвестности; смехотворный результат горного труда; предостережение остерегаться выводить богов на сцену; случайный кивок на Гомера; - это обычные цитаты, настолько четкие и исчерпывающие в своем латинском одеянии, что даже неграмотный ученый вводит их в свои трактаты, иногда с любопытным эффектом.

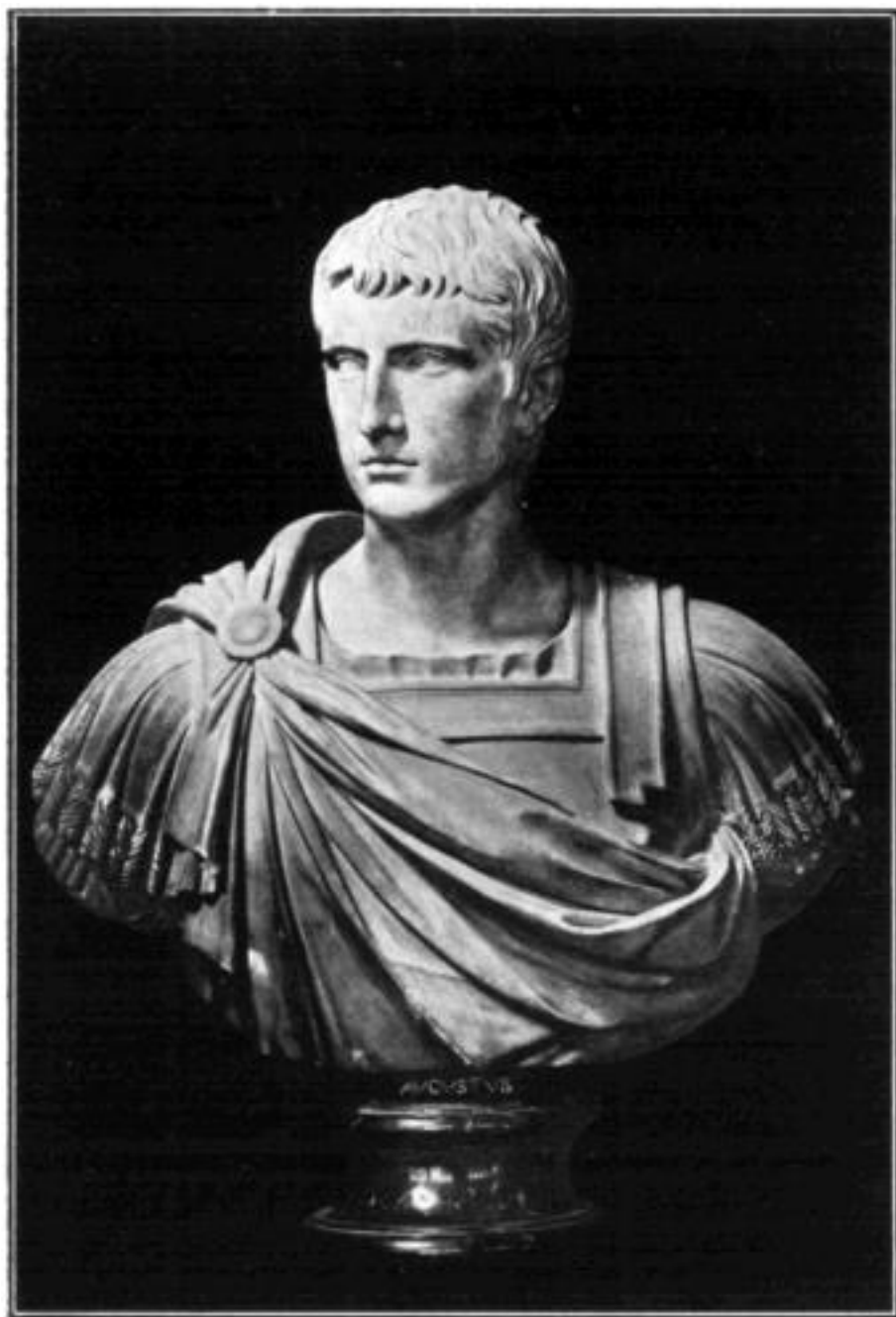


Фото Алинари].

[Галерея Уффици, Флоренция.

АВГУСТУС.

Если для полной оценки этих незначительных красот необходимо знание латинского текста, то более обильное очарование как Сатир, так и Посланий доступно и безлатинскому читателю. Ведь поэтические всплески кратки и редки, они возникают на фоне того, что, как часто напоминает нам Гораций, по сути, является прозаическими эссе в разговорной форме, а их гексаметровое одеяние - непоэтическая случайность. Перед неклассическим студентом предстают две версии. Первая - это научный перевод Конингтона, которому иногда мешает, а не украшает его метрическая форма; другая - более поздний перевод декана Уикхема, ясный, плавный, читаемый, с печатью высокого авторитета переводчика на многих спорных отрывках. Оба они заманчиво ставят перед английскими читателями Рим времен Горация и способствуют их сближению с его собственным умом, характером, историей.

Предпочтительнее обоих, без сомнения, "Подражания" Поупа, которые не стремятся к буквальному переносу, а работают, как и его еще более знаменитый Гомер, путем переплавки оригинала и заливки плавленной массы в английскую форму. Вместо Тибура и Форума их фон - Твитнам и Молл; вместо Мецената - Сент-Джон, вместо Требация - Фортескью, вместо Нумиция - Мюррей. Там, где Гораций апеллирует к Эннию и Аттию, они цитируют Шекспира и Коули; а забытые умники, знатные особы, придворные, транжиры гораццианского Рима вновь появляются в образе лорда Херви или леди Марии, Шиппена, Шартра, Олдфилда, Дартенефа; и нежная лесть Горация римскому императору с дьявольской ловкостью пародируется в горькую насмешку над английским королем. В этих легких и отточенных метаморфозах Поуп предстает перед нами в своем лучшем виде; подобно Горацию, он является воплощением своего времени, имея то же отношение к Лондону королевы Анны, что и Гораций к столице Августа, в качестве патриота, ученого, мироеда, эпикурейца, поэта, сатирика; и таким образом воспроизводя в английском одеянии нечто, во всяком случае, экзотический колорит своего оригинала. В эпоху, когда Поупом незаслуженно и катастрофически пренебрегают, я сделаю все возможное, чтобы представить несколько образцов гораццианского творчества короля-поэта своего века, чье остроумие и законченность, непревзойденные, если не сказать непревзойденные в нашей литературе, сформировали вкус моих современников; и кому публика, которая его порицает или игнорирует, ежедневно воздаст должное, цитируя его бессознательно чаще, чем кого-либо, кроме Шекспира.

Вот пример из "Сатир", усиливающий наш интерес к картине Горация благодаря ее адаптации к знакомым английским персонажам. Великие Сципион и Лаэлий, говорит Гораций (Sat. II, i, 72), могли не сгибать своего достоинства, чтобы побаловаться и даже порезвиться с Луцилием. Поуп говорит о своем собственном доме в Твикенхеме:

Знай, весь дальний шум, что мир может хранить

Проносится над моим гротом и лишь успокаивает мой сон.

Там мое пристанище - лучшие спутники,

Вожди вне войны и государственные деятели вне места.

Там святой Иоанн смешивается с моей дружеской чашей.

Пир разума и поток души:

И он, чья молния пронзила Иберийские линии,

теперь образует мой Квинкункс, а теперь расставляет мои лозы,

Или укрощает гений упрямой равнины,

Почти так же быстро, как он завоевал Испанию.

То, что Невия больше не читают (Ер. II, i, 53), нас мало трогает, ведь о Невии мы ничего не знаем; Поуп заменяет его писателем, которого знают и которым восхищаются до сих пор:

Кто теперь читает Коули? Если он еще нравится,

Его мораль радует, а не остроумие;

Забудьте его эпическое, а может быть, и пиндарическое искусство,

Но все же я люблю язык его сердца.

Гораций рассказывает, как старая грубая сатурнианская мера уступила место позднейшей элегантности (Ер. II, i, 157). Поуп метко вводит эти тонкие резонирующие строки:

У Уоллера было гладко, но Драйден научил соединять

Изменчивый стих, полную звонкую строку,

Длинный величественный марш и божественную энергию.

Гораций утверждает, что поэзия поднимает ум от грубого и чувственного к образному и чистому (Ер. II, i, 128). Поуп иллюстрирует это восхитительным комплиментом в адрес моралиста Аддисона, лишь слегка щелкнув плетью, чтобы показать, что он помнит их старую ссору:

В наши дни (простите за некоторые куртуазные пятна)

Не осталось страницы белее, чем у Аддисона.

Он отвратил нашу юность от непристойного вкуса,

И ставит страсти на сторону Истины;

Формирует мягкое лоно с нежнейшим искусством,

И вливает в сердце все человеческие добродетели.

Гораций, говоря о старом комическом поэте Ливии (Ер. II, i, 69), которого его заставляли читать в школе, возмущается тем, что хоть одна аккуратная строчка или удачная фраза должна сохранять всю остальную презренную композицию. Это и есть расширение Поупа:

Но для умников времен Карла,

Толпа джентльменов, которые писали с легкостью,

Спрат, Кэрю, Седли и еще сотня других,

Словно мерцающие звезды, "Мисселлании" переливаются,

Один образ, что одиноко сияет

В сухой пустыне тысячи строк,

Или удлинённая мысль, промелькнувшая на многих страницах,

Освятил целые поэмы на целую эпоху.

Гораций рисует университетского дона таким, каким он видел его, выходящим из своего студенческого уединения на афинские улицы, отсутствующим, задумчивым, вызывающим смех у прохожих (Ер. II, ii, 81). Поуп переносит его в Оксфорд:

Человек, который, растянувшись в спокойном уединении Изиды,

Книгам и учебе семь лет отдал;

Видит, усыпанный ученой пылью, свой ночной колпак,

Он идет, под солнцем новый объект.

Вокруг него стекаются мальчишки, а люди глазеют;

Такой неподвижный, такой немой! Какая-то статуя, вы бы поклялись,

Сошедшая с пьедестала, чтобы взлететь на воздух.

Наконец, Гораций превозносит поэта в отличие от простого версификатора (Ер. II, i, 210).

Передача Поупа должна развеять обвинения в нечувствительности, которые иногда легкомысленно выдвигаются против него:

Позвольте мне хоть раз взять на себя смелость наставлять времена

Чтоб отличить Поэта от рифмоплета:

'Это он, кто тысячу раз заставляет мою грудь страдать,

Может заставить меня почувствовать каждую страсть, которую он притворяется,

Раздражать, сочинять, с искусством более чем волшебным,

Жалостью и ужасом разорвать мое сердце;

И вырвать меня из земли или из воздуха,

В Фивы, в Афины, когда захочет и куда захочет.

Если бы он мог сделать больше! Но из сорока одного "Разговора" Поуп имитировал только семь. И чтобы усвоить оставшиеся, мы должны спуститься с высот поэзии в прохладную долину буквального маскарада. Одной даме, зимовавшей в Риме и советовавшей со мной по поводу путеводителей, я рискнул порекомендовать "Превращение" Хоторна, "Ave Roma" Марион Кроуфорд и перевод "Сатир и посланий" Дина Уикхема.

(1) Пусть писатель попросит снисхождения, вспоминая, как ровно пятьдесят восемь лет назад, будучи старшим мальчиком в Винчестере, он публично прочел эту сатиру, получив в награду из рук начальника Бартера серебряную медаль королевы за красноречие.

ОДЫ И ЭПОДЫ

Я попытался в какой-то мере истолковать учение "Сатир" и "Посланий". Но если бы гений автора нашел свое выражение только в этих "Разговорах", он не стал бы через девятнадцать веков самым любимым из латинских поэтов: любимым в свое время и усталым Атласом Августом, и утонченным чувственником Мecenатом; "играющим на струнах сердца" сурового цензора Персия; наделенным Петронием и Квинтилианом призом непередаваемого счастья; любимцем Данте, Монтеня, Вольтера, Честерфилда; "старым популярным Горацием" Теннисона; Горацием, чья "печальная серьезность и живая точность" пронзила душу и мозг престарелого Джона Генри Ньюмена. "Его стихи, - говорит великий французский критик (Сент-Бёв, "Гораций"), - представляют собой пособие по хорошему вкусу, поэтическому чувству, практической и житейской мудрости. У христианина есть Библия, у ученого - Гомер, Порт-Рояль жил по святому Августину, ранняя философия - по Монтеню; Гораций входит в круг всех: читая его, мы ничуть не порываем с современностью, но сохраняем связь с античностью. Я не знаю ничего более восхитительного по мере взросления человека, когда его ум сохраняет свою тонкость, но сознает нарастающее томление, чем испытать одно и подкрепить другое общением со знакомой и часто перечитываемой книгой: мы идем, опираясь на посох, прогуливаемся, опираясь на дружескую руку. Вот что делает для нас Гораций: возвращаясь к нему в старости, мы возвращаем себе молодость и с облегчением узнаем, заново перечитывая его хорошо запомнившиеся строки, что если наш ум и стал более инертным, то и чувств в нем больше, чем в прежние времена".

Для полного оправдания этих изящных удобств мы должны обратиться к лирическим стихотворениям. Сатиры и послания, как часто напоминает нам их автор, были написаны прозой: раскрытая горацианская тайна, сжатое выражение горацианского очарования требовали музыкального стиха; и это мы имеем в одах и эподах. Слово "ода" по-гречески означает "песня"; "эпод" - всего лишь метрический термин для выражения оды, в которой чередуются более длинные и более короткие строки, и мы можем рассматривать их все одинаково как оды. Эподы - одна из самых ранних его публикаций, и на них заметны следы работы "начинающей руки". Он называет их "Iambi", греческое слово, означающее "пародия"; шесть из них представляют собой горькие личные нападки на отдельных людей, чуждые благовоспитанности и урбанизму, которые отличают его более поздние произведения. Еще больше произведений того же класса он, как полагают, подавил, сохранив их как образцы того раннего стиля, а также потому, что, хотя и в зачаточном виде, они вызвали восхищение Вергилия и предпочли своему автору покровительство Мecenата. Один из лучших Эподов (Erod. ix) представляет особый интерес, поскольку написан, вероятно, на палубе галеры Мecenата во время или сразу после битвы при Актиуме; в этом случае он является единственным сохранившимся современным отчетом о сражении. В ней отражена ненависть, разгоревшаяся в груди римлян из-за безвольного подчинения Антония своему любовнику; с ужасом представляется беспутная египетская блудница, торжествующая и верховная в Риме, со своими занавешенными комарами кроватями и подстилками, со своим отрядом морщинистых евнухов. Он с точностью зрителя описывает дезертирство галльского контингента во время битвы, бегство флота Антония влево: затем, используя свой излюбленный прием - переходить от острой страсти к комедии, Гораций

сетует на собственную морскую болезнь, когда волнение боя закончилось, и призывает выпить кубок вина, чтобы ее заглушить. В другом "Эпode" (Erod. ii) он вспоминает свои мальчишеские воспоминания, восхваляя деревенскую жизнь: ранней весной виноградники, подвязанные к тополям, затем стрижка овец, еще позже сбор винограда и меда; когда наступает зима, днем охота на кабана, вечером веселая трапеза с женой и детьми на оливах, щавеле, мальвах, у потрескивающего очага, сложенного из бревен. Даже здесь он не отучился от приемов насмешливой иронии, проявившихся в его ранних произведениях и порожденных, возможно, его ранней борьбой; ведь он вкладывает эту восхитительную пастораль, которая звенит по странице, как мильтоновское "L'Allegro", в уста римского капиталиста, который, укушенный мимолетной страстью к деревенской жизни, вкладывает все свои деньги, чтобы купить ферму, тоскует в деревне пенсии на бирже, продает свое поместье в быстром отвращении и возвращается к городской жизни:

Так говорил старый Десятипроцентник, когда он

A jolly farmer fain would be.

His money he called in amain-

На следующей неделе он снова их выложил.

это вдохновенный перевод мистера Голдвина Смита.

В его оставшихся Эподах мы можем проследить зародыши его более поздних од. Здесь и ласковые обращения к Меценату, и отвращение к гражданским распрям, и веселые приглашения к кубку вина, и ухаживания за жеманной девицей. Меценат то и дело просит его издать их в полном объеме, и в оправдание своей задержки он ссылается на беглую влюбленность. Однако они были опубликованы, несмотря на отвращения Неары; отправились, аккуратно выписанные в красных колонках, к братьям Сосиям на улицу Аргилетум, чтобы писцы библиотекаря размножили их на хорошо отбеленном египетском папирусе, переплели в пупырчатый пергамент, хранили в металлических ящиках на полках книготорговцев внутри, а имена автора и его произведения были начертаны на столбе снаружи магазина, как указание для потенциальных покупателей. Экземпляры продавались, вероятно, по несколько динариев за штуку; что бы мы не отдали за один из них сегодня? Будем надеяться, что их автору хорошо заплатили.

Горацию было уже тридцать пять лет: Эподы научили его владеть лирическим стихом. Сначала он подражал старшим римским сатирикам; здесь же по совету Мецената он копировал с греческих образцов, с Алкея и Сапфо, утверждая впоследствии с гордостью, что он первым среди римских поэтов соединил эолийские лиры с нотами Италии (Од. III, xxx, 13). Он потратил семь лет на составление первых трех книг "Оды", которые вышли в одном томе около 23 года до н.э. В них, как ни в одной из его поэм, заключена суть его не поддающегося определению магического искусства. В них речь идет, казалось бы, о скучных истинах и черствых моралях, о простых радостях и простых печалях. Они говорят нам о том, что жизнь коротка, а смерть неизбежна, что хороши легкие любви и старинные вина, что богатство обременительно, а достаток лучше пира, что деревенская жизнь восхитительна, что старость настигает нас быстро, что друзья покидают нас в печали, а печаль не возвращает их. Банальные изречения, несомненно; но все они украшены восхитительной силой и новизной, одновременно печально серьезной и ярко точной; не слишком простой для глубокого и не слишком искусной для поверхностного; освященной словесным великолепием, которое принадлежит только эпохе особой интеллектуальной утонченности и которое, как бриллиант,

сверкает в гранях его собственного отполированного ума. "Он - breviарий естественного человека, его поэзия - подражание не Христу, а Эпикуру".

Его оды можно условно классифицировать как религиозные, моральные, философские, личные, аматорские.

1. Религиозные. Между классическим и христианским гимном, как напомнил нам Мэтью Арнольд, лежит огромная пропасть. Латинское представление о богах было гражданским; они были высшими главами республики; римская церковь была невидимым римским государством; религия была просто возвышенным патриотизмом. Поэтому обращения Горация к божествам по большей части напоминают им об их коронационных клятвах, об условиях, на которых им поклонялись, об их доле в сделке с человечеством, сделке, которую нужно было держать на своей стороне, если они ожидали дани в виде ягнят и поросят, освященных пирогов и венков из вербены. Очень мало того, что мы называем преданностью, было в их временах. В двух одах (I, ii, xii) от простого перечисления олимпийских имен он переходит к гораздо более серьезному обожествлению Августа. Другая (III, xix) - это благопожелание Вакху после винопития. Или Фавну предлагается оставить преследование нимф (вспоминается насмешка Илииды над Ваалом) и заняться своими обязанностями на сабинской ферме - благословлять землю и охранять ягнят (III, xviii). Гимн Меркурию повествует о мифических подвигах крылатого бога, о его детских кражах у Аполлона, о том, как он провел Приама через греческий лагерь, о его даре речи для людей, о его пастырстве над душами в Аиде (I, x). Венеру призывают в изящной молитве посетить часовню, которую строит для нее Гликера (I, xxx):

Приди и приведи с собой своего сияющего мальчика,

Всех граций, с киртами свободными,

Юность, что без тебя не знает радости,

Веселых нимф и блаженного Меркурия.

Доктрину всевластного Провидения Гораций отверг еще в "Сатирах" (Sat. iv, 101), считая, что боги слишком счастливы и слишком беспечны в своем высшем безразличии, чтобы беспокоиться о делах смертных. Но иногда, как и все люди, он чувствовал потребность в высшем небесном руководителе: в благородной оде, которую любил Рёскин, он, кажется, находит его в Необходимости или Фортуне (Od. I, xxxv); а однажды, напуганный громом, раздавшимся в безоблачном небе, отказывается от того, что называет "иррациональным рационализмом", и признает, что Бог может, если захочет, низложить сильных и возвысить низких (I, xxxiv). И снова в его гимне, посвященном посвящению храма Аполлона на Палатине (I, xxxi), звучит серьезная нота. Он не будет просить у бога богатых кукурузных полей и тучных луговых земель, вина из Калеса, предлагаемого в золотом кубке. Его молитва требует более высоких благ, чем эти:

Даруй мне, Фибус, спокойное довольство,

Силу несокрушимую, разум цельный,

Старость без бесчестия,

И лирой не обделенный.

С другой стороны, его "Ода к Мельпомене" (IV, iii), написанная в сознании признания себя национальным поэтом, "арфистом римской лиры", дышит чувством благодарности к

Божеству, намного превосходящим типичный поэтический кант почтения к Музе. А его прекрасный светский гимн, сочиненный по заказу Августа для великих Игр столетия, несет в себе ноту патриотического устремления и нравственной серьезности, недостойную сравнения с Молитвой Посвящения царя Соломона, и такой, что, при некоторой модернизации вызываемых божеств, вряд ли мог бы быть не подобающим национальному религиозному фестивалю в наши дни. Ее пели двадцать семь знатных юношей и столько же высокородных девиц, то в антифоне, то в хоре, обращаясь к Аполлону и Диане, как к представителям всех богов. Аполлон, благослови наш город! говорят юноши. Диана, благослови наших женщин и детей, говорят девушки, и охраняй святость наших брачных законов. Принесите благодатные плоды Земли, говорят оба; дайте чистоту юности и мир старости. Верните утерянные добродетели Золотого века: Веру, Честь, античный Стыд, Стойкость и Достоинство, и Изобилие с его кишачим рогом. Услышь, Бог! Услышь, Богиня! Да, мы чувствуем, что наши молитвы услышаны.

Теперь мы возвращаемся домой,
полные благословенной надежды, которая не покидает нас,
Что Джов и все боги слышали нашу молитву,
И с одобрительными улыбками приветствуют наше почтение:
Мы, искусные в хоровых гармониях, чтобы поднять
Гимн Фибу и Диане восхваляя.

Конечно, во всем этом нет ни капли экстаза, ни искры вдохновения, которое в святом Франциске, святой Терезе или Чарльзе Уэсли возносит к вершинам гимнотворчества. И как невообразимому римскому темпераменту не хватало инстинкта обожания, так не хватало и другой составляющей сверхъестественной веры - веры в бессмертие. Возможно, существует теневой мир - так говорили поэты, Одиссей посетил его глубины и принес отчет - но в лучшем случае это было мрачное место. Гораций упоминает о нем всегда в тоне древнееврейских псалмопевцев или больного до смерти Езекии, используя для поэтического эффекта Миноса, Цербера, Тантала и Сизифа, но всегда с нотками грусти и тревоги. Не сам Орфей, говорит он (I, xxiv, 13) в своем изысканном плаче по умершему Квинтилиусу, может вернуть живую кровь призрачному бледному, который присоединился к призрачной группе, отправляющейся на Стикс: боги безжалостны - мы можем лишь терпеливо переносить утраты (II, iii). Ты должен покинуть, мой Деллий, свои приятные рощи и свой домик на берегу Тибра, ибо Орк, безжалостный царь, набрасывается на всех одинаково:

Земля, дом и прекрасная жена - все должно быть оставлено;
А кипарисы - ненавидеть,
Один из всех деревьев.
Который теперь твоей фантазии угоден,
Затмят прах его, кто был владыкой их.
(II, xiv, 21.)

2. Мораль. Но если боги нам не ведомы, и если грядущий мир туманен, у нас все равно есть этот мир; мир, который не всегда стоит обделять любовью, вином и товариществом, поскольку за его резвой беспечностью скрываются облагораживающие требования долга и

совести. Как и у Филдинга, как и у Теккерея, легкий текущий тон спортивности или иронии усиливает редкую торжественность дидактической моральной серьезности. Из всех латинских поэтов, говорит сэр Ричард Фэншоу, Гораций наиболее полно пропитан превосходной моралью. В шести величественных одах, открывающих третью книгу, вместе с более поздней одой (xxiv), которая завершает серию и не должна была быть отделена от нее, горацянская поэзия поднимается на самую большую высоту этической впечатлительности. Торжественные слова иерофанта, призывающего непосвященных к началу религиозной церемонии (III, i, 1-2), произнесенные с официальным допущением в прекрасном исступлении вдохновленного музами жреца, их единство цели и стиля делает их практически непрерывной поэмой. В ней бичуются пороки и недалековидная глупость общества; с дамокловым мечом над головой богач восседает на роскошной доске (III, i, 17); плывет на своей бронзовой галере, едет в своей роскошной колеснице, с черным Карэ вечно у руля или на ложе (III, i, 40). Усердием в поле и веселой бедностью дома Рим стал великим в древности; такими должны быть добродетели и в наши дни. Пусть люди будут *нравственными*; именно безнравственность погубила Трою; *героическими* - читайте историю Регула; *мужественными*, но с мужеством упорядоченным, дисциплинированным, управляемым (III, iii; v; iv, 65). Грубая сила без разума, говорит он почти словами Мильтона, падает от собственной силы, как пали гиганты, столкнувшись с богами:

Ибо что есть сила без двойной доли

Мудрость? Огромная, громоздкая, обременительная;

Гордая, надежная, но способная пасть

Слабыми тонкостями, не созданная, чтобы править,

Но служить там, где мудрость повелевает".

("Samson Ag.", 53.)

Самодисциплина, напоминает он своим слушателям, не должна быть угрюмой и строгой; в возрожденном Риме все еще могут править Музы. Они сеют мягкие мысли и радуются, когда мягкие мысли пускают корни; утонченность манер и ума и радость литературной культуры (III, iv, 41).

Он осуждает показное богатство богачей, их приращение полей к полям, бедные семьи, выселенные из усадеб и коттеджей, чтобы освободить место для разросшихся парков, прудов и садов;

изгнанные из дома

И жена, и муж должны скитаться,

неся на себе своих домашних богов,

С убогими младенцами на груди.

(II, xviii, 23.)

Не так было в старые добрые времена. Тогда богачи облицовывали мрамором храмы богов, а свои домики покрывали случайно вырезанным дерном (II, xv, 13). И к чему все это великолепия? За стенами вашего дворца скрывается мрачный архитектор более узкого дома; путь славы ведет только в могилу (II, xviii, 17). И как на мужчин, так и на женщин Рима падают его торжественные предостережения. Их задача - сохранить священные семейные узы,

чистоту супружеской жизни. Пусть они подражают матронам прошлого, суровым матерям галантных сыновей (III, vi, 37). Пусть мужчины и женщины объединятся, чтобы остановить вырождение, которое уже началось и которое, если его не остановить, будет становиться все более смертоносным с каждым поколением, сменяющим друг друга.

How Time doth in its flight debate

Все, что находит? Род наших отцов,

более сведущих в пороках.

чем их предки, рождает нас еще

Еще более злых, которым суждено породить

Род еще более порочный.

(III, vi, 45.)

3. Философский. "Как прелестна божественная философия?" - сказал кроткий младший брат в "Комусе" своему поучительному старшему. Говоря как один из профанов, я нахожу не менее очаровательной гуманистическую философию Горация. Будь доволен! Будь умерен! Пользуйся настоящим! таковы его максимы.

Будьте довольны! Ум без тревог - высшее благо (II, xvi). Большие желания влекут за собой большие нужды (III, xvi, 42). Хорошо, когда молитва ищет и получает не больше, чем требует жизнь.

Счастлив тот,

кто каждый вечер может сказать,

"Моя жизнь прожита": утром может увидеть

пасмурный или солнечный день:

Это зависит от Джова; но то, что ушло.

Он не хочет, не может обратить в ничто,

И не отменит, как неисполненное.

Что однажды летучий час принес.

(III, xxix, 41.)

Будьте умеренны! Кто отвергнет себя, тот больше обретет (III, xvi, 21). Тот, кто владеет своим духом, лучше владыки Карфагена. Держись золотой середины (II, x, 5). Ужин бедняка, скудный, но опрятный и свободный от забот, без всякой обстановки на столе, кроме его поделочной серебряной солонки, лучше, чем застоявшийся бык и забота о нем (II, xvi, 13). И он на практике исполнял то, что проповедовал, отказываясь от новых щедрот, которые навязывал ему Меценат. Что мне нужно больше, чем у меня есть? говорит он:

Истина моя с гением смешана,

Богач приходит и стучится в мои бедные ворота.

Одаренный таким образом, я никогда не унываю,

И не утомляю Небеса о большем, И не молю великих
О большей щедрости молю,
Моя сабинская ферма - мое единственное достаточное благо".
(II, xviii, 9.)

Овладейте настоящим! Увенчайте чело поздними розами и миртовыми кронами; Утопите заботы в вине, считая прибылью каждый день, который может подарить Шанс (I, vii, 31; I, ix, 14). Бледная смерть скоро придет; пока я говорю, время ускользает: пользуйтесь днем, ничего не доверяйте завтрашнему дню.

Ах, Возлюбленный мой, наполни чашу, очищающую
день от прошлых сожалений и будущих страхов:

Завтра? Почему завтра я могу быть

Себя со вчерашним днем на семь тысяч лет.

Что может быть банальнее этой фразы о том, что все мы должны умереть? Но он снова и снова доносит ее до нас с патетической слезливой силой. Каждый раз, когда мы читаем его, его сладкая печальная языческая музыка воспеваает прах к праху, пыль к пыли, и мы слышим, как земля падает на крышку гроба среди цветов.

Ах, Постум, они уносят

Наши годы, и благочестия час

От морщин и тлена,

и неукротимой силы смерти;

Хоть триста бычков ты запрягай

Каждый день, чтоб омыть бесслезные очи

Того, кто охраняет во рвах

Титиос и Герион тройной величины:

Все, все, увы, в том водном краю

Кто питается плодами, что дает природа,

Должны пройти, будь мы монархами коронованными,

Или скромные землепашцы.

(II, xiv.)

Антипатия не ограничивается язычеством; мы не доверяем христианину, который исповедует игнорирование ; многие из нас почувствовали братство человечества к покойному ученому Папе, когда узнали, что, когда смерть смотрела ему в лицо, он цеплялся за языческого Горация как за правдивый и сочувственный оракул. "И все мы сегодня обращаемся к этому

певцу древнего мира за руководством в обманах жизни и за стойкостью перед лицом смерти."



Фотография Алинари]

[Капитолийский музей, Рим.

ВИРГИЛИЙ.

4. Личное. Кое-что, но не очень много, мы узнаем о близких Горация из этого класса од. Ближе всех к нему по привязанности и чаще других обращается Мecenат. Во вступительной оде ему воздается должное в словах, которые Аллан Рамзи тщательно имитирует, обращаясь к вождю своего клана:

Dalhousie of an auld descent,

Мой вождь, мой посох, мое украшение;

а в конце тома поэт повторяет свое посвящение (III, xxix). Дважды он приглашает своего покровителя на пиршество: выпить вина, разлитого в тот день, когда за несколько лет до этого, выйдя в театр после болезни, он был встречен приветственными возгласами собравшейся толпы (I, xx); еще раз - 1 марта, отмечаемого как годовщина его собственного спасения от падающего дерева (III, viii). На жалобное письмо друга, написанное во время болезни и страха смерти, он посылает нежное утешение и увещевание, о которых мы уже говорили (с. 29). Совсем в другом тоне он воспевае хвалу Лицимнии (II, xii), предположительно Теренции, новобрачной жены Мецената, сладкоречивой, остроумной, любящей, которой ее муж в время был страстно очарован. Наконец, с той нежной почтительностью, которая никогда не переходит в раболепие, он рассказывает о своем пожизненном долге, с благодарностью восхваляя все еще удаленное место, которое даровала ему щедрость друга:

Чистый свежий ручей, маленькое поле, укрытое

С тенистыми деревьями, урожай, который никогда не обманет.

(III, xvi, 29.)

Не менее нежной и ласковой является изысканная ода Вергилия на смерть Квинктилия.

Многие добрые люди оплакивали смерть Квинктилия,

Но никто, кроме тебя, мой Вергилий, не плакал сильнее;

(I, xxiv.)

или своему преданному другу Септимию (стр. 39) (II, vi), который отправился бы с ним на край света, в мавританские или кантабрийские дебри. Им не нужно так далеко ехать; но когда возраст возьмет свое, они отправятся в Тарентум, самое сладкое место на земле:

Это место, эти счастливые высоты, желают

Мы там остановимся; там, когда жизнь кончится,

Твоя слеза оросит мой еще теплый костер,

Твой бард и друг.

Великому полководцу Агриппе (I, vi), сопернику Мецената в благосклонности Августа, он посылает комплимент, но несколько чопорный и официально задуманный; гораздо более сердечные строки адресованы высокородному Аэлию Ламию (III, 17), чья статуя стоит сегодня среди бледных бессмертий Капитолийского музея. Есть нотки тонирующего подшучивания над Тибуллом, "отвергнутым непостоянной Гликерой", и "пробурчавшим жалобные элегии" (I, xxxiii); веселая пародия на воображаемый симпозиум в честь новоиспеченного авгура Мурены (III, 19), с тостами, чаепитиями, шумными вакхическими песнями и развешивающимися по столу венками из роз; восхитительная насмешка над заверениями некоего Ксанфия (II, iv), который женился на служанке и стыдится этого. Возможно, он еще узнает, что, хотя она и впала в безвестность, на самом деле она высокородна и благородна и подарит ему тещу-патрицианку.

Как знать, может быть, прекрасная Филлис
побег какого-нибудь очень уважаемого стебля;
Да, клянусь, на ее древе есть несколько королей,
И сожалеет о потерянных акрах, которыми они когда-то владели.
Никогда не подумаешь, что столь изысканное создание выросло
В местах, где знают только порок и бесчестье,
И не думайте, что девушка так бескорыстна, так верна,
Имела мать, которую стыдно было бы взять за свою собственную.

Среди его корреспондентов мы можем назвать только поэта Вальгия, трагиков Поллио и Фуска, Саллюста, внука историка, Помпея, его старого товарища по войнам Брута, Лоллия, потерпевшего поражение в битве и с позором вернувшегося домой. Не стоит трудиться и над тем, чтобы назвать множество других: Икций, Гросфус, Деллий, которые фигурируют в качестве простого посвящения, а также лиц, упомянутых вскользь, таких как Телеф с розовой шеей и собранными волосами (I, xiii; III, xix), которого Булвер Литтон, прекрасно помнящий свою собственную амброзиальную юность, называет "типичным красавцем и убийцей дам". Горацианские персонажи, замечает Дин Милман, могли бы содержать почти все знаменитые имена эпохи Августа.

5. Аматори. "Ты говоришь только о дамах?" - говорит шут Фесте бедному Мальволио. То же самое он мог бы сказать и Горацию, ведь третья часть од в первых трех книгах обращена к женщинам или касается их. Сколько прелестных женских имен, которыми музицируют его любовные песни, в слогах, дышащих сладостью юга и тающих, как поцелуи, при произнесении, представляют реальных девушек, мы не можем предположить; ни с одной из них, кроме, возможно, одной, которая умерла молодой, он, кажется, не был по-настоящему влюблен. Ему было сорок лет, когда было написано большинство его амурных од; возраст, в котором, как напомнила нам Джордж Элиот, крещение страстью происходит скорее путем погружения, чем путем орошения. Что-то он должен был знать о любви, иначе не смог бы писать так, как писал; но это скорее поверхностная галантность флирта, чем бесстрастное самоотвержение влюбленного; холостяк с блуждающим критическим взглядом, сердцем цельным, но свободным от фантазии, слишком опытный знаток красоты, чтобы стать ее рабом. Без эмоций, без благоговения, но с острым смакованием он описывает золотые локоны Пирры и низкий лоб Ликорис - женственные красоты для римского глаза, и тонкие руки и стройные лодыжки Филлиды, и ямочка на щеке Кия, и спутанные волосы Неары, и болтливый багаж Лида, и ослепительный цвет лица Глицеры, ослепляющий взор (I, v, xix, xxxiii; II, iv, 21; III, xiv, 21). Все они непостоянные молодцы, знает он; но таковы люди, таков и он; продолжайте приятное общение, ссоры и примирения. Все юноши Рима влюблены в прекрасную Нинон д'Энклос по имени Барин - Мэтью Арнольд назвал ее лучшей из всех од (II, viii), - а она лжесвидетельствует с каждым по очереди. Но это, кажется, ответ; она сияет прекраснее, чем когда-либо. Венера и нимфы только смеются, а ее любовники, молодые и старые, продолжают обнимать свои цепи.

Новые невольники заполняют сети, которые вы плетете;
Новые рабы плодятся, и те, что были раньше,
Хотя часто угрожают, никогда не покидают

Твоей лживой двери.

Иногда он играет в монитор. Мужа Астерии занесло в Грецию встречными ветрами: он верен жене, хотя хозяйка искушает его: пусть жена будет начеку против своего красавца-соседа Энипея (III, vii). Его собственные очаровательницы иногда бывают упрямы: Хлоя и Лида бегут от него, как оленята (I, xxiii): это потому, что они молоды; он может подождать, пока они подрастут; тогда они сами придут к нему: "Они всегда приходят", - говорит Дизраэли в "Генриетте Темпл". Он поссорился со старой знакомой (I, xvi), которую он оскорбил несколькими клеветническими стихами. Он просит у нее прощения; он был молод и зол, когда писал; он сожжет оскорбительные строки или бросит их в море:

Пойдемте, я сменю кислое на сладкое,
И улыбнусь благодушно, как прежде;

Услышь, как повторяю я палиноду,
И верни мне сердце вновь.

Он испытывает горькую ревность к красивому юноше, красоту которого восхваляет Лидия (I, xiii). Она напрасно восхищается им; она найдет его неверным; Гораций хорошо его знает:

О, блаженны вдвое, и блаженны вовек!
Те, кого истинная привязанность связывает,
В ком ни сомненья, ни тревоги не нарушают
Союз их неизменных дум;
Но жизнь в слиянье течет,
Безмятежно и солнечно до самого конца.

Если кто-то сейчас читает "Лалла Рух", он вспомнит изысканную передачу этих строк из уст завуалированного Нурмахала:

Есть блаженство, превышающее все, о чем поведал менестрель,
Когда двое, что связаны небесными узами,
С сердцем неизменным и челом холодным,
Любят сквозь все невзгоды и любят до самой смерти.
Один час такой священной страсти стоит того.
Целых веков бессердечного и блуждающего блаженства;
И о! Если есть Элизиум на земле,
то только этот, только этот!

Но, пожалуй, если бы можно было провести опрос ученого жюри на предмет самой очаровательной среди всех любовных песен Горация, то наибольшее число голосов было бы отдано за знаменитое "Примирение" бродячего поэта с этой или с какой-то другой Лидией (III, ix). Пара бывших любовников, взаимно неверных, обменивается вызывающими рассказами о своих неверностях; затем, возрождая старую привязанность в результате их ссоры, соглашаются отказаться от своих промежуточных спутниц и вернуться к своей первой верности.

Он.

Пока я был дорог, а ты была добра,
И я, и только я, мог лежать
На снежной груди твоей откинувшись,
Ни один царь Персии не был так счастлив, как я.

Она.

Пока я для тебя была всем,
И Хлоя с Лидией соперничать не могла,
Знаменитая в одах и мадригалах,
Не римлянин Илий так прославился, как я.

Он.

Теперь я раб фракийской Хлои,
С рукой и голосом, чарующим воздух,
Ради нее даже смерть я готов отважить,
Чтоб судьба милую девушку пощадила.

Она.

Я по Кале сохну; и я
Вся его страсть, вся его забота,
За него я готова умереть двойной смертью,
Чтоб судьба милого мальчика пощадила.

Он.

Что, если наша древняя любовь вернется,
И свяжет нас более тесными узами,
Если я от светловолосой Хлои откажусь,
И, как прежде, по Лидии вздохну?

Она.

Хотя он прекрасней, чем твоя звезда,
Ты непостоянна, как апрельское небо,
И более жестока, чем море Адрии,
С тобою бы я жил, с тобою бы я умер.

Суровый Скалигер говорил, что предпочел бы написать эту оду, чем быть королем Испании и Индии: Мильтоновская Ева выражает свою преданность Адаму в апострофе, перефразированном из заключительных строк оды.

Обратите внимание, как во всех одах, которые мы читаем, мы находим не только галерею исторических картин, не только бессознательное раскрытие "я" поэта, то есть наименее субъективного из поэтов, всегда, как говорит сэр Стивен де Вер, смотрящего вовне, никогда не смотрящего внутрь; но они случайно рисуют для нас в ярких и знакомых тонах интимную повседневную жизнь той далекой древней королевы городов. Мы гуляем с ними по улицам Рима. Мы видим, как знатоки заглядывают в лавки диковинок и перебирают пальцами бронзовые или серебряные статуэтки; как шаловливые мальчишки подшучивают над торжественным стоиком, который идет по улице, степенный, превосходный, отсутствующий; как хорошие мальчики возвращаются из школы с хорошо проштудированными учебниками; как влюбленные в лавках и ресторанах стреляют яблочными косточками между пальцами, радуясь хорошей примете, если они попадают в потолок; как работают лавки виноторговца Сульпиция и книготорговца Сосия; огромный белый латийский бык, точно такой же, как сегодня, несущийся к рынку, с пучком сена на рогах, чтобы предупредить пешеходов об опасности; грубые рисунки мелом или красками на стене, рекламирующие какого-нибудь знаменитого гладиатора; в сумерках шепчущиеся влюбленные в Кампусе или резвящиеся в прятки парни и девушки на углах улиц или площадей, точно так же, как вы можете наблюдать их сегодня весенними или зимними вечерами среди нижних арок Колизея; это микрокосм, камей той жизни старого мира. Гораций знал и не боялся сказать, что в своих стихах, особенно в "Одах", он завещал человечеству бессмертное наследие, а себе поставил вечный памятник. Одного он не мог знать: что по прошествии почти двух тысяч лет раса, о которой он едва слышал, что она обитает "за пределами мира", будет бережно хранить его имя и читать его сочинения с благодарностью, превосходящей даже благодарность его современников - римлян.

Осталось несколько од, слишком случайных, чтобы их можно было классифицировать: ликование по поводу ухода зимы и возвращения весны (I, iv); восхваление тибурских потоков, Тарентума (II, vi), который он любил лишь меньше Тибура, рожи Лукретилиса (I, xvii), нависшей над его сабинской долиной, бандузийского источника, возле которого он играл в детстве. У нас есть пиндарические или исторические оды, с рассказами о Трое, о данаидских невестах, о Регуле, о Европе (III, iii, v, xi, xvii); драматическое обращение к Архиту (I, xxviii), успокоившее последние минуты Марка Паттисона; прекрасный эпилог, завершающий книгу, написанный в спокойствии обретенной славы;

И вот свершилось: прочнее меди

Мой памятник будет, и вознесет свою голову
Над королевскими пирамидами: не страшны ему ни
Дождь проливной или злой Борей,
ни долгий срок незапамятных времен.

Я не совсем умру; большой остаток
Убежит от королевы похорон. Вечно новая
Моя слава будет расти, пока понтифики восходят
С молчаливыми девами на Капитолийскую высоту.
"Родился, - скажут люди, - там, где любят Ауфида,
Где Даная скудные ручьи под ним склонила.
Деревенские племена, из тусклости он стал ярким,
Первым из своей расы вступил в брак с эолийской листвою
С нотами Италии". Облекитесь славой,
Моя собственная Мельпомена, гением завоеванная,
И увенчай меня своей милостью Дельфийской бухтой.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Когда хорошо сыгранный актер уходит со сцены под трубные прощания восхищенной, но сожалеющей публики, мы немного возмущаемся его случайным повторным появлением. Так и послесловие, когда последнее слово поэта уже произнесено, и произнесено эмоционально, способно оскорбить: мы можем пожелать, чтобы только что процитированное прекрасное стихотворение было припасено в качестве завершения для будущего тома, которому не хватает заключительной ноты, или даже чтобы сам том не был опубликован. Четвертая книга "Оды" была написана почти через десять лет после трех других, и Гораций писал ее не как поэт, а как лауреат. Его "Светский гимн" появился в 17 году до н. э., когда ему было сорок восемь лет; после него Август заставил его воспеть победы двух своих пасынков, Друза и Тиберия, над племенами Восточных Альп. Если он писал неохотно, то его рука не утратила своей хитрости. Чувства стали бледнее и искусственнее, но сохранились прежняя сгущенность и плавность. Он начинает с грустной неохотой. Он стар, единственная любимая женщина умерла, его лирические восторги и любовные походы

подошли к концу, он устал от льстивых надежд, от шумных пирушек, от свежих от росы цветочных гирлянд. Или ему нужны не любовные, а военные песни? Здесь он еще более беспомощен. Чтобы восхвалять Цезаря, нужен достойный Пиндар, а он не Пиндар; и поэтому у нас есть ода в честь фиванского барда. И все же, как избранный лирик римской расы, он не может полностью отказаться от этого призыва. Мельпомена, с колыбели отметившая его как своего, все еще может, если захочет, пролить на него силу очарования, вдохнуть в него "музыку лебедя". Так, медленно, возрождается угасающий лирический огонь; мы получаем боевые оды завоевателям Друзусу и Лоллию, панегирики Августу и Тиберию, все они дышат гордым сознанием того, что "Муза открывает могилу хорошего человека и возносит его к богам"; что бессмертие может быть завоевано только пером поэта, и что в его собственной власти даровать его.



Фото Беккетти].

ФОРУМ, ВОССТАНОВЛЕННЫЙ В 80 Г. Н.Э.
(Воспроизводится с особого разрешения.)

Остальные стихи выдержаны в прежнем духе, но являются несколько скорбными отголосками прошлого. Они напоминают нам зимнюю песню малиновки - "Hark to him weeping", - говорят деревенские жители, слушая музыку, которая сохранила сладость, но утратила то, что Вордсворт называет порывами летних песен. По-прежнему существует ода Венере; ее молитва теперь не "приди, чтобы благословить твоего поклонника", а "оставь старое сердце, черствое от пятидесяти лет, и ищи более молодого поклонника". Есть и ода Весне. Весна спустила с небес его самую раннюю Музу; она пришла к нему, заряженная юношеским пылом, ожиданиями, радостями; теперь ее единственное послание заключается

в том, что перемены и смерть сопровождают все человеческие надежды и заботы. Как армия, потерпевшая поражение, снег отступил; Грации и Нимфы могут танцевать без одежды в мягком теплом воздухе. Но лето вытеснит весну, осень - лето, затем снова придет унылая зима ; придет к году, придет к нам с вами. Ни рождение, ни красноречие, ни добродетель не спасут от судилища Миноса; как Эней, Тулл, Анкус, как все великие люди земли, мы скоро станем безымянными тенями и жалкой пылинкой. Еще больше прежнего жизнерадостного веселья возвращается в праздничном приглашении не поэта, а некоего Вергилия. В переводе сэра Теодора Мартина есть отголосок Тома Мура.

* * * * *

На молодой траве откинувшись, у журчанья фонтанов,
Пастухи поют песню равнин,
И бог, что любит пурпурные горы Аркадии,
Бог стад, очарован их песнями.

* * * * *

К ветрам с низменной корыстью и бледной меланхолией!
В пламени костра они, увы, будут тщетны;
Смешай свои мудрые размышления с проблесками глупости,
Временами быть немного безумным - восхитительно!
Далее следует зверское нападение на некую Лайсу, древнюю красавицу, утратившую свои юношеские прелести, но сохранившую молодость:
Где теперь эта красота? Где эти движения? Где
Где тот цвет? Что от нее, от нее осталось,
Кто, дыша воздухом Любви,
Меня лишила себя!
Бедный Лайс! Пощажен до вороньих дней;
Чтоб юность увидела, со смехом и отвращеньем,
На пламя, что когда-то пылало,
Теперь тлеет в серой пыли.

Бедная Лайса! Что она сделала, чтобы ее так бичевали? Одно обращение мы упускаем: в этой книге нет оды Меценату, который был не в фаворе у Августа и утратил всякое политическое влияние. Но друг не утонул в придворном. Иды или 13 апреля - день рождения его старого покровителя - рождение, говорит Гораций, дороже ему почти что его собственного, и он всегда отмечает его как праздник. С несколько призрачным воскрешением умершего и ушедшего сладострастия он просит Филлис прийти и провести его с ним. Все готово, бочонок девятилетнего "Альбана" накрыт, слуги в полном восторге, алтарь убран для жертвоприношения, пламя вьется по кухонному дымоходу, плющ и петрушка собраны, чтобы сделать венок для волос Филлис. Приди же, милая девушка,

последняя из моих любовей, ибо никогда больше сердце не будет пылать при виде женщины, - приди и выучи у меня мелодию, чтобы петь этим дорогим голосом и прогонять скучные заботы. Мне рассказывали, что каждый мужчина, занимаясь любовью, уверяет свою чаровницу, что ни одна женщина никогда не сменит ее в его глазах; но это, вероятно, настоящая лебединая песня влюбленных. Ему было больше, чем большинству мужчин, - пятьдесят два года. Годы уходят, грустно говорит он, лишая нас одного за другим всех драгоценных вещей: веселья, любви, банкетов; наконец, сама Муза расправляет крылья, чтобы следовать за ними. "Вы достаточно долго развлекались, - говорит она, - с Амариллисом в тени, вы наелись и напились досыта, пора вам покинуть сцену". И вот занавес опускается.

К нашему большому сожалению, не существует современного портрета Горация. Он сам рассказывает нам (Ер. II, ii, 214; I, xx, 29), что был невысокого роста, волосы черные, но рано поседевшие; что он любил греться на солнце, что нрав у него был вспыльчивый, но легко умиротворяемый. В зрелом возрасте он растолстел; Август довольно грубо подшучивает над его грубой фигурой. Портрет, приложенный к этому тому, сделан с конторниата, или бронзового медальона времен Константина, изображающего облик поэта, традиционно сохранившийся среди его соотечественников через триста лет после его смерти.

Самая старая из сохранившихся рукописей его произведений, вероятно, находится в публичной библиотеке Берна и датируется девятым веком. Самое раннее печатное издание, не имеющее ни даты, ни имени печатника, предположительно было опубликовано в Милане в 1470 году. Издания также были напечатаны во Флоренции и в Венеции в 1482 году, а третье - в Венеции в 1492 году. Иллюстрированное издание на пергаменте было выпущено Альдусом в 1501 году и переиздано в 1509, 1514, 1519 годах. Флорентийская типография Джунти выпустила великолепные экземпляры в 1503, 1514, 1519 годах. Между этой датой и концом века из знаменитых типографий вышло еще семь изданий. Из современных изданий можно отметить пергаментный фолиант Бодони 1791 года и великолепное издание Дидо 1799 года с изысканными медными виньетками. Счастлив тот коллекционер, который обладает подлинным первым изданием "Горация" Пайна 1733 года. Оно известно благодаря ошибке в тексте, исправленной в последующем и менее ценном в библиографическом отношении оттиске того же года. Прекрасная живописная книга декана Милмана; студент предпочтет книги Орелли, Маклина, Йонге, Манро и Кинга или научные тома декана Уикхема.

Составляя эту скромную книжку, я имел в виду, главным образом, читателей, совершенно не знающих латыни, но желающих узнать что-нибудь о писателе, которого с восторгом превозносят все ученые-классики: они заметят, что я не ввел на ее страницы ни одного латинского слова. Я питал также надежду, что она может быть полезна тем, кто забыл, но хотел бы восстановить Горация, которого они изучали в школе; и им я осмелюсь рекомендовать небольшую копию латинского текста с приложением версии Конингтона в "Bell's Pocket Classics". Читатели без латыни, конечно, должны читать его по-английски или не читать вовсе. Ни один перевод не может в полной мере передать загадочное очарование любого оригинала, будь то поэзия или проза. "Только епископ", - сказал лорд Честерфилд, - "улучшается от перевода". Но прозу гораздо легче перевести точно, чем стих; и я уже говорил, что версия Сатир и Посланий Конингтона или декана Уикхема, которые оба практически написаны прозой, расскажет им, что сказал Гораций, а иногда и очень близко к тому, как он это сказал. Над одами экспериментировали многие английские писатели.

Мильтон попробовал свои силы в одной из них, и результат не отразил ни Мильтона, ни Горация. Драйден показал, что он мог бы сделать, но не сделал, в своем дразнящем фрагменте "Оды к Фортуне". Поуп превратил более позднюю "Оду к Венере" в чисто английскую поэму, с изящным искусственным механизмом, совершенно не похожим на естественное течение оригинала. Благородная "Горацианская ода" Марвелла с ее превосходными строфами, посвященными смерти Карла I, показывает, чего он мог бы достичь, но не попытался. Перевод Фрэнсиса, сделанный в 1765 году, в целом заслуживает уважения и, за неимением лучшего, повсеместно читался и цитировался его современниками: однажды, в Оде к Пирру (III, xx), он достигает необыкновенного изящества фразы и метра. Каупер перевел две оды и подражал еще двум, не без удачных штрихов, но со вставками и пропусками, которые низводят поэзию до обыденности. Из немногих попыток Кальверли три особенно хороши; звучная строка в его "Левконе" (I, xi):

"Что бросает нынче волна на упрямый песчаный риф",

одновременно горацианская и теннисоновская; а его "Oh! where is all thy loveliness?" в поздней "Оде к Лису" чудесно уловила минорный ключ нежной памяти, который смягчает жестокость этой безжалостной порки. Более многочисленные "Заливные листья" мистера Голдуина Смита выполнены в хорошей манере; а его "Благословенный человек, удаленный от забот и раздоров" хорошо передает на английский язык бездыханность притворного пасторального экстаза Горация. Из более амбициозных переводчиков Булвер Литтон то и дело улавливает небрежный восторг оригинала; сэр Теодор Мартин всегда музыкален и текуч, иногда чудесно удачен в метрах, но намеренно нелитерален и свободен. Конингтон жестко верен, часто терпим, но ему не хватает лирической сладости. Возможно, если бы Марвелл, Херрик, Коули, Приор, ныне забытый Уильям Спенсер, Том Мур, Теккерей могли быть алхимически соединены в одно целое, они могли бы объединиться, чтобы получить английского Горация. Пока эклектичная природа, подражая греческому скульптору, не создаст архетип из этих семи моделей, студент-вернакулярник, со своим Мартином и своим Конингтоном, потягивая из каждого попеременно, как пчела Матина у Горация (IV, ii, 27), терпкость профессора и сладость поэта, может найти в них отголосок постоянно меняющейся тональности од, что-то от их словесного великолепия, что-то от их волнующей тоски; может небезуспешно стремиться, говоря словами теннисоновского "Тимбукту", достичь, отбрасывая тень на недостижимое.

О "ВИНАХ" ПОЭЗИИ ГОРАЦИЯ

Вина, чьи исторические имена сверкают на страницах Горация, стали классическим общим местом в английской литературе. "Ну что, мой юный друг, мы должны хоть раз предпочесть фалернское *гнусному сабинуму*?" - говорит Монкбарнс Ловелу, когда хозяин гостиницы "Хоуз" в Квинсферри приносит им кларет вместо портвейна. Возможно, было бы неплохо, если бы мы немного знали о них.

Самым лучшим из итальянских вин было *Саесибан* - из лоз, выращенных на тополях среди болот Амикла в Кампании. Это было пьянящее, щедрое вино, требовавшее длительного хранения, поэтому Гораций говорит о нем как о хранящемся в самом дальнем конце погреба или "хранящемся до сих пор в биннах нашего внука" (III, ххviii, 2, 3; I, хххvii, 6); его берегли для больших банкетов, тщательно храня под замком: "твой наследник осушит Цекубан, который ты хранил под сотней замков" (II, xiv, 25). Горацию он был не по карману, и пить его могли позволить себе только богатые люди; мы слышим о нем за столом Мецената и на борту его галеры (I, xx, 9); он появляется на дорогом пиру Насидиена (стр. 27). С цекубинским он объединяет *формийский* (I, xx, 11) и *фалернский* (I, xx, 10), растущие на южных склонах холмов, отделяющих Кампанию от Лациума. "В травянистом уголке твой дух веселит старый фалернский виноград", - говорит он своему другу Деллию (II, iii, 6). Он называет его свирепым, грубым, огненным; рекомендует смешивать его с хианским вином или с вином из Суррентума (Sat. II, iv, 55), а также подслащивать и разбавлять медом с горы Гиметтус (Sat. II, ii, 15). Из того же района происходило и *массонское* вино, тоже крепкое и жгучее. "Оно порождает забывчивость" (II, vii, 21), говорит он; советует смягчать его пребыванием под открытым небом (Sat. II, iv, 51). У него был небольшой запас, который он хранил для "счастливого дня" (III, xxi, 6). *Каленское* вино из Калеса близ Фалернума имело схожий характер. Он относит его к цекубскому как слишком дорогое для кошелька бедняка (I, xx, 10): в конце жизни он пишет другу, обещая найти ему немного, но говорит, что его гость должен принести в обмен алебастровую шкатулку с драгоценным спикенаром (IV, xii, 17). Следующим после кампанских виноградников идет *альбанский*. Он говорит Филлис, что достанет для нее бочонок этого вина девятилетней выдержки (IV, xi, 1). Оно же было предложено на обеде у Насидиена в качестве альтернативы цекубскому; Гораций хвалит изюм, приготовленный из его ягод (Sat. II, iv, 72). О *сабине*, беднейшем из итальянских вин, мы уже говорили (стр. 23).

Лучшим греческим вином было *хианское*, густое и сочное; в "Эпode к Меценату" (IX, 34) он сравнивает его с *лесбийским*, которое в другом месте (I, xvii, 21) называет "невинным" или мягким. *Коанское* вино он упоминает дважды, высоко оценивая его лечебную ценность (Sat. II, iv, 29; II, viii, 9).

Справедливости ради Гораций и его друзья должны заметить, что знаточество в вине не следует путать с опьянением. Они пили, чтобы взбодриться, а не одурманить себя, чтобы сделать их теми, кого мистер Брэдвардин называет *ebrioli*, а не *ebrii*; и он неоднократно предостерегает от излишеств. Лоза была для него "священным деревом", а ее бог, Вакх, - нежным, милостивым божеством (I, xviii, 1):

"Ты можешь исцелить унылое сердце,

Твоя сила поднимает рог бедняка;

Вдохновленная тобой, сталь солдата,

И монарший венец он высмеивает.

III, xxi, 17.

"Полным воздержанникам, - говорит он, - небо все усложняет" (I, xviii, 3); так давайте же пить, но пить умеренно, оставим ссоры в наших чашах варварским скифам, грубым кентаврам и лапифам: пусть буйство никогда не оскверняет нашего поклонения доброму богу. Мы должны снова вспомнить, что они не пили вино в чистом виде, как мы, а всегда смешивали его с

водой. Подойди, говорит он своему рабу, когда они садятся, утоли огонь вина из источника, который журчит рядом (II, xi, 19). Обычно смешивали две части воды с одной частью вина; иногда девять частей воды с тремя частями вина, Музы с Грациями; очень редко девять частей вина с тремя частями воды.

Кого любят неровные Музы,

Зажжет его головокружительный мозг трижды три.

Три раза по три - Грейс одобряет;

Она со своими двумя яркими сестрами, веселыми и свободными,

Ненавидит незаконные распри, любит благопристойное веселье.

III, xix, 11.

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГОРАЦИЯ

ДО Н.Э.	ВОЗРАСТ.	
65		Родился 8 декабря.
44	21	Поступил студентом в Афины.
43	22	В армии Брута.
41	24 {	Филиппы. Возвращение в Рим.
38	27	Знакомство с Меценатом.
35	30	Сатиры, книга I.
30	35	Сатиры, книга II, и Эподы.
23	42	Оды I-III.
20	45	Послания, книга I.
19	46	Послания, книга II, ii.
17	48	Гимн столетия.
13	52	Оды, книга IV.
13	52	Послание к Августу.
10?	55?	Искусство поэзии.
8	57	Умер 17 ноября.

ЧИЗВИК ПРЕСС: НАПЕЧАТАНО ЧАРЛЬЗОМ УИТТИНГЕМОМ И КО.
ТОРКС КОРТ, ЧАНСЕРИ ЛЭЙН, ЛОНДОН.

Примечание транскриптора:

Последние две рекламные страницы, показанные выше, были перенесены вниз с передней части книги, чтобы не мешать представлению первой части.